
АЛЕКСАНДР ФРОСТ
РЕМИЗОВ
СЫСКНАЯ УПРАВА
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ • 10 КНИГ
Полный цикл
10 книг • 50 глав

Александр Фрост

Ремизов. Сыскная управа (Сборник рассказов)

https://litres.ru/74717129
SelfPub; 2026

Аннотация

Веледарская империя. Город Стрежень: конка, заводы, податные палаты, гильдейские фонари, которые не мигают и не коптят. Магия здесь ремесло и сословие, не чудо. Нелюди живут по соседству, платят подушное и работают за жалованье. И всё это устроено давно, привычно и с одним изъяном: чародейство многое умеет сделать, но ничего не умеет выяснить. Оттого сыск в империи веками держался на доносе и признании. Поэтому Гильдия чародейных наук по государеву приказу вытянула из другого мира человека, который умеет иначе. Десять законченных дел за четыре года службы. Запертый дом, куда никто не входил. Тело на льду, к которому ведёт одна цепочка следов. Ребёнок, пропавший из детской, где остался стеклянный шарик. Семьдесят шесть человек, которые четыре года молчали больше, чем были должны. Четыре казённых магазина, полных по бумаге. И одна история, которая тянется через все десять: кто и зачем его сюда вызвал, что за это придётся заплатить и был ли он первым. Полный цикл в одном томе....

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ. ДОМ ПОД ОБВОДОМ. Глава первая 5
Глава вторая 19
Глава третья 32
Глава четвёртая 45
Глава пятая 58
КНИГА ВТОРАЯ. ЛЁД СТАЛ РАНО. Глава шестая 71
Глава седьмая 85
Глава восьмая 99
Глава девятая 113
Глава десятая 127
КНИГА ТРЕТЬЯ. ЧТО БЕРУТ ВЗАМЕН. Глава одиннадцатая 140
Конец ознакомительного фрагмента. 154

Александр Фрост
Ремизов. Сыскная управа
(Сборник рассказов)

КНИГА ПЕРВАЯ. ДОМ ПОД ОБВОДОМ. Глава первая

Обвод был цел. Никто не входил и не выходил.

В дверь били так, будто дом уже горел.

Ремизов сел на койке и обнаружил, что заснул в рубахе. Третью неделю подряд он засыпал в рубахе. Казённая квартира на Мытной досталась ему вместе с должностью: голые стены, стол под окном, шкаф с чужой посудой и печь, которую надо топить с вечера, а он всё забывал.

— Андрей Ильич! — Голос за дверью сорвался на петуха. — Андрей Ильич, беда!

— Иду.

Он открыл. На площадке, приплясывая от холода, стоял Гринька Осташев, писец Сыскной управы, в шинели поверх ночной рубахи и без шапки. Волосы у него торчали во все стороны, как у человека, которого разбудили тем же способом, каким он только что будил начальника.

— Убийство, — выпалил Гринька. — На Свечном взвозе. Тихомир Спиридонович уже там, велел вас поднять и сказать...

Он запнулся.

— Что сказать?

— Сказать, чтоб вы поторопились, пока они всё не затоп-

тали. — Гринька виновато моргнул. — Он другими словами сказал.

— Догадываюсь.

Ремизов взял шинель. За три недели он выучил про этот город немного, но одно усвоил твёрдо: если Кулага передаёт, что надо торопиться, — значит, торопиться поздно.

На улице стояла та серая муть, которая в листопаде считается здесь утром. Свечной взвоз шёл от реки вверх, к богатой стороне, и весь состоял из каменных домов, поставленных вплотную, боком друг к другу. Извозчик, поднятый среди ночи, правил так, словно вёз не начальника сыска, а недоразумение.

— Кто убитый? — спросил Ремизов.

— Мошнин, — сказал Гринька с придыханием. — Аникей Гаврилович. Старший смотритель Податной палаты.

— Крупная птица?

— Так у него полгорода в недоимках ходит! — Гринька всплеснул руками и чуть не свалился с сиденья. — То есть ходило. Ой.

— Записывай, — сказал Ремизов. — Число, час, откуда узнали, кто сообщил. Всё, что произошло без нас.

— Так это ж в дело потом писать, из показаний, — растерялся Гринька.

— В дело потом. А сейчас — себе. Пиши.

Писец вытащил книжечку и, подпрыгивая вместе с пролёткой, начал царапать карандашом. Ремизов смотрел, как за

окном проплывают фонари — здешние, гильдейские, с ровным холодным светом, который не мигал и не коптил. Он до сих пор не мог заставить себя признать, что они не электрические.

* * *

Дом номер восемь по Свечному взвозу был из тех, что строят, чтобы соседи считали окна.

У крыльца толпились человек тридцать: дворники с соседних домов, бабы в платках, мальчишки на заборе. Квартальный надзиратель Фомич, круглый и мокрый от усердия, разводил руками, никого не пуская и никого не прогоняя.

А во дворе, у поленницы, на коленях в грязном снегу стояли четверо.

Ремизов вышел из пролётки и остановился.

Их связали одной верёвкой, продев её между локтями: кухарка, пожилая, с распущенными от возни волосами; лакей, парень лет двадцати, с разбитой губой; ключница в тёмном платье; и совсем старик, дворник, который, кажется, не понимал, где находится, и всё пытался поклониться.

— Это что? — спросил Ремизов.

— Поголовный привод, ваше высокородие, — с готовностью отрапортовал Фомич. — Как положено. Дом был под обводом, посторонним ходу нет, стало быть, кто в доме — тот и виноват. Всех и взяли, до выяснения.

— До какого выяснения?

— Так до признания же. — Квартальный посмотрел на

него ясными глазами. — Обыкновенно к обеду сознаются. Не все, конечно. Кто-нибудь один.

От поленницы отделилась сутулая фигура в потёртой шубе. Тихомир Спиридонович Кулага, подьячий управы, шёл к ним неторопливо, руки за спину, с лицом человека, который тридцать лет наблюдает одно и то же и уже перестал по этому поводу расстраиваться.

— Доброго утречка, Андрей Ильич, — сказал он. — Я вам говорил, что вы опоздаете.

— Развязать, — сказал Ремизов.

Наступила тишина. Фомич моргнул.

— Кого?

— Всех четверых. Развязать, в дом не пускать, посадить в кухню, дать воды. Каждого отдельно от других. Не разговаривать между собой.

— Ваше высокородие... — Квартальный оглянулся на толпу, будто ища поддержки. — Так ведь разбегутся.

— У вас во дворе шесть человек с ружьями. Куда они разбегутся, по крышам?

— Обычай такой, — с достоинством сказал Фомич.

— Обычай, — согласился Ремизов. — Развязывайте.

Кулага сплюнул в снег, повернулся к городовым и сказал негромко и буднично:

— Слыхали? Развязывайте, ребята. Начальник управы велит. Он у нас из другого мира, ему оттуда видней.

Городовые засмеялись — не зло, а как смеются понятной

шутке, — и пошли развязывать.

Ремизов уже привык: приказ, над которым посмеялись, всё равно исполняют.

— Тихомир Спиридонович. Кто в доме был ночью?

— Эти четверо да сам покойник, — сказал Кулага. — Хозяйка с дочерью третий месяц в Заречье, у сестры. Гостей не было.

— Кто нашёл?

— Ключница. В шестом часу пошла печи затапливать, глянула — дверь кабинета настежь, а он в кресле.

— А обвод?

Подьячий поднял на него глаза, и в них впервые за утро появилось что-то, кроме вежливой скуки.

— А вот тут, Андрей Ильич, самое любопытное. Обвод был поставлен с вечера и снят при мне, в половине седьмого. Целый. Ни щёлочки.

* * *

Про гильдейский обвод Ремизову рассказали в первую же неделю, между делом, как рассказывают приезжему про расписание конки. Ставится на ночь: чародей проводит по притолокам и подоконникам, произносит слово, и до рассвета в дом нельзя войти и из дома нельзя выйти. Никому. Ни человеку, ни нелюдю, ни бумаге в щель. Снимает хозяин своим словом или тот чародей, что ставил. Стоит сорок рублей в год, и потому на Свечном взвозе он в каждом втором доме, а в нижней части города — ни в одном.

Ремизов в обвод не верил. Вслух он этого не говорил — выучил, что тут это звучит примерно как «я не верю в пятницу». Но верить в замок, который нельзя ни осмотреть, ни разобрать, ни попробовать вскрыть, он не собирался.

В сенях пахло воском и остывшим угаром. Он поднялся по лестнице, отсчитывая ступени — четырнадцать, — и остановился на пороге кабинета.

Комната была большая и убранная с той тщательностью, какая бывает у людей, покупающих обстановку по описи. Тяжёлый стол, конторка, шкаф с картонными коробами, ковёр. Два окна на взвоз, шторы задёрнуты. Лампа на столе догорела до сухого фитиля.

Аникей Гаврилович Мошнин сидел в кресле у стола, немного откинувшись, и со стороны казалось, что человек задремал над бумагами. Ремизов постоял, глядя на него, и почувствовал знакомое — то, что не проходит ни за двенадцать лет, ни при переезде в другой мир: короткую пустоту в груди, будто на секунду отключили звук.

Потом он снял шинель, повесил на дверную ручку и сказал:

— Никто не входит. Гринька, встань в дверях. Тихомир Спиридонович, лекарь где?

— Тут я, — отозвались из-за спины.

Городской лекарь Штоф был высок, худ и мрачен, как человек, которого много лет подряд будят раньше, чем он рассчитывал.

— Я осмотрел, — сказал он. — Часа четыре как. Может, пять. Следов борьбы нет. Крови нет. Ни удара, ни удавки. По всему — сердце.

— По всему?

— По всему, что видно. — Штоф пожал плечами. — Ему пятьдесят два, он весил как две меня, и в Податной палате у него была должность, от которой у людей и в тридцать сердце садится. Я бы написал: скоропостижно.

— Напишите пока ничего, — сказал Ремизов.

Лекарь посмотрел на него с интересом.

— Так ведь квартальный уже поголовный привод объявил.

— Квартальный объявил, что тут убийство. Вы говорите, что тут сердце. Кто-то из вас ошибается, и мне бы хотелось знать кто, прежде чем на кухне начнут сознаваться.

Он присел на корточки у кресла и стал смотреть.

Он смотрел долго, дольше, чем всем в комнате казалось нужным. На башмаки покойного — домашние, мягкие, чистые. На ковёр перед креслом. На стол: чернильница закрыта, перо сухое, стопка бумаг ровная, придавлена медным грузиком. На стакан с водой у локтя — полный на две трети. На лампу.

— Гринька. Бумагу, карандаш. Черти комнату.

— Как — черчу? — испугался писец.

— Сверху. Как будто ты птица и смотришь вниз. Стол сюда, кресло сюда, окна отметь, дверь отметь. Где что лежит —

отметь. Потом сочтёшь шаги от двери до стола и подпишешь.

Гринька приоткрыл рот. Кулага в дверях крякнул.

— Это вроде обвода будет? — благоговейно спросил писец. — Комнату обводим, чтоб она, значит, при нас осталась, как была?

— Это, — сказал Ремизов, — чтобы через два месяца в суде я мог сказать, где стоял стакан, а не вспоминать.

— Обводим комнату, — понимающе кивнул Гринька и начал чертить.

Ремизов не стал спорить. За три недели он выучил ещё и это: пусть называют как хотят, лишь бы делали.

Он поднялся, подошёл к первому окну, отодвинул штору. Шпингалет закрыт, на подоконнике ровный слой пыли — нетронутый, без смазанного следа, какой оставляет всякая рука. Второе окно то же. Печная дверца в углу — холодная, зола слежалась.

— Тихомир Спиридонович. Кроме двери и окон — как отсюда можно выйти?

— Никак, — сказал Кулага. — Стены каменные, дом в два кирпича. Труба — печная, в неё кошка не пролезет. Пол над сенями, потолок под чердаком, чердак заперт снаружи на замок, замок цел, я смотрел.

— То есть остаётся дверь.

— Остаётся дверь. — Подьячий развёл руками. — А на двери был обвод, и обвод был цел. Оттого квартальный и взял домашних, и, между нами говоря, Андрей Ильич, взял

их правильно. По здешнему разумению правильно, — прибавил он, поймав взгляд. — Я же не говорю, что верно.

Ремизов вышел на площадку и остановился перед дверью кабинета.

Он осматривал её минут пять. Провёл пальцем по притолоке, по косяку, присел и заглянул в щель между дверью и полом — щель была широкая, в два пальца, старая дверь просела. Потом попробовал петли, потом замок — обычный, врезной, ключ торчал изнутри.

— Ключ был в двери? — спросил он, не оборачиваясь.

— В двери, — подтвердил Кулага. — С той стороны. Ключница сама сказала: дверь настежь стояла, а ключ в скважине изнутри.

— Настежь, — повторил Ремизов.

— Настежь.

— А зачем человек, сидя один в доме под обводом, запирает кабинет изнутри на ключ?

Кулага помолчал.

— Затем, — сказал он наконец, — что и в доме под обводом ему было кого бояться.

* * *

К полудню Сыскная управа выглядела так, будто в ней случился пожар и все спасали бумаги.

Управа занимала второй этаж углового дома на Приказной, над лавкой готового платья: три комнаты, шесть столов и печь, которая топилась исправно, — единственное во всём

городе, что топилось исправно.

— Наместник прислал, — сказал Кулага, кладя на стол пакет.

Ремизов сломал печать.

Светлейший наместник Стрежня Аполлинарий Егорович Тучков-Заречный извещал начальника Сыскной управы, что смерть старшего смотрителя Податной палаты произвела в городе беспокойство, что Податная палата в лице своих служащих требует скорейшего удовлетворения, а также что дело надлежит закончить **в три дня**, дабы не длить толков.

Ниже, другой рукой и помельче, было приписано: «При затруднении держаться поголовного привода. Способ испытанный».

— Испытанный, — сказал Ремизов.

— А что вы хотите. — Кулага сел напротив, вытянув ноги. — В прошлом году на Кожевенной купца зарезали, так за два дня управились. Дворника взяли, дворник сознался.

— А зарезал кто?

— А кто ж его знает, — сказал подьячий. — Дворник же сознался.

Он сказал это без вызова, как говорят о погоде, и Ремизов понял, что старик его проверяет. Третью неделю, каждый день, и будет проверять дальше.

— Тихомир Спиридонович. У нас четверо в кухне. Что мы про них знаем?

— Кухарка Степанида, при доме одиннадцать лет. Ключ-

ница Марфа Лукинична, семь. Дворник Ерофей, старик, глух на левое ухо. Лакей Прошка, взят весной, до того служил в трактире, откуда его выгнали за нескромность. — Кулага загнул четвёртый палец. — Прошку и возьмут. По разумению квартального он самый подходящий: молодой, чужой, губа разбита.

— Губа откуда?

— С вечера подрался на Свечном же, у ворот, с приказчиком. Полдюжины свидетелей, я уже спросил.

Ремизов посмотрел на него.

— Вы спросили. До меня.

— Я тридцать лет в управе, Андрей Ильич, — невозмутимо сказал Кулага. — Я и без ваших чертежей знаю, что первым делом спрашивают про разбитую губу.

— Тогда почему вы этого не сказали квартальному?

— Так квартальный не спрашивал.

В дверях возник Гринька с чертежом, разложил его на столе, придавил чернильницей и отступил на шаг, светясь.

Чертёж был кривой, но всё стояло на месте: и стол, и кресло, и оба окна, и стакан, и лампа. Внизу писец аккуратно вывел: «Обвод комнаты покойного Мошнина А. Г., чертил Осташев Г., шагов от двери до стола — одиннадцать».

— Одиннадцать, — сказал Ремизов. — Хорошо. Пиши дальше. Список: кто в городе имел к Мошнину дело за последний год. Недоимщики, откупщики, поставщики, всё, что найдёшь в Податной палате. И отдельно — кто у него в доме

бывал.

— Так это ж будет... — Гринька побледнел. — Это ж полгорода.

— Значит, будет полгорода. Начнёшь с тех, кому он на этой неделе портил жизнь.

Писец умчался.

— Три дня, — напомнил Кулага.

— Знаю.

— И заключение из Гильдии я запросил, как вы велели. По обводу.

— Когда будет?

Подьячий посмотрел на дверь.

— Судя по всему, уже.

* * *

Милава Ратмировна вошла без стука, как входят люди, которым стучать не по чину.

Она была лет сорока, сухая, прямая, в тёмном платье с гильдейским шитьём по вороту — двойная линия, замкнутая в кольцо. За три недели Ремизов не видел, чтобы она хоть раз торопилась.

— Заключение, — сказала она, кладя лист на стол. — Обвод на доме номер восемь по Свечному взвозу поставлен девятого листопада в шесть часов пополудни, снят десятого в шесть тридцать утра. Ставил и снимал чародей второй ступени Верещага, при свидетелях. Обвод был цел.

— Что значит «цел»?

— Что он не был снят, не был разорван и не был обойдён.

— Откуда это известно?

Милава Ратмировна посмотрела на него так, как смотрят на человека, спросившего, откуда известно, что вода мокрая.

— Оттуда, что если обвод обойти, он гаснет. Он не гаснул.

— А если его обойти так, что он не гаснет?

— Тогда это не обход, — сказала она. — Тогда это что-то другое.

Ремизов помолчал. За окном по Приказной прогромыхала конка.

— Милава Ратмировна. Скажите прямо: ваше заключение означает, что убийца был в доме?

— Моё заключение означает, — ровно ответила она, — что через обвод в ту ночь никто не входил и не выходил. Что оно означает для вашего дела, вам виднее. Меня приставили помогать, а не гадать.

— Тогда помогите. Мне нужен ваш Верещага. Сегодня.

— Он занят.

— Мне нужен ваш Верещага сегодня, — повторил Ремизов, — потому что послезавтра в этой управе лакей Прошка сознается в том, чего не делал, и вот это уже будет означать кое-что и для вас.

Она чуть подняла брови. Не рассердилась — отметила.

— Я передам, — сказала она. И, уже у двери, не оборачиваясь: — Вы спрашивали на прошлой неделе, обращались ли в Гильдию с обратным переходом.

Ремизов медленно поставил стакан.

— Спрашивал.

— Мне велено вам ответить. Обратный переход возможен в основании. Никем и никогда не делался.

Дверь закрылась.

* * *

Вечером он вернулся на Мытную, растопил печь с четвёртой спички и сел к столу с чертежом Гриньки.

Одиннадцать шагов от двери до стола. Стакан на две трети. Ключ изнутри. Дверь настежь. Пыль на подоконниках нетронута. Щель под дверью в два пальца.

«Возможно в основании. Никем и никогда не делался».

Он поймал себя на том, что уже полчаса читает одну и ту же строчку, и отложил лист.

За окном шёл мелкий снег, косой, при гильдейском фонаре видно было каждую крупинку. Ремизов растёр лицо ладонями и вдруг остановился.

Правая рука. Мизинец, сломанный на третьем году службы и сросшийся неровно, — тот самый, который двенадцать лет подряд начинал ныть за сутки до снега. Он ныл всегда. На него можно было ставить деньги, и в отделе ставили.

Ремизов согнул палец, разогнул. Пошевелил.

Ничего.

Он посидел, глядя на руку. Потом решил, что дело, надо думать, в здешнем воздухе, встал и пошёл топить печь заново, потому что она успела погаснуть.

Глава вторая

Допрашивать в кухне было неудобно, но Ремизов настоял.

— В управу бы их, — говорил Фомич, топчась в дверях. — В управе оно способнее. Там и стол, и решётка.

— Здесь способнее.

— Чем же?

— Тем, что они помнят эту кухню, — сказал Ремизов. — Человек в знакомом месте вспоминает больше. В управе он вспоминает только про решётку.

Квартальный посмотрел на него с тем выражением, с каким смотрят на приезжего, объясняющего, как правильно солить капусту. Но ушёл.

Ключницу звали Марфа Лукинична. Она села на край табурета, положила руки на колени и стала смотреть в стену.

— Марфа Лукинична, вы не под подозрением, — сказал Ремизов.

— Все под подозрением, — ровно ответила ключница. — Так заведено.

— Не у меня. Расскажите с вечера. С того часа, как обвод поставили.

Она рассказывала долго и подробно, и Ремизов не перебивал, только изредка возвращал назад: «а до этого?», «а в котором часу?», «а кто при этом был?». Гринька в углу писал, высунув язык.

Картина складывалась обыкновенная. В шесть пришёл чародей Верещага, прошёл по притолокам, сказал слово и ушёл; за это ему дают на чай двугривенный, а он не берёт, потому что гильдейским не положено, и всякий раз этот двугривенный возвращается в дом обратно. В седьмом часу барин ужинал один. В восьмом поднялся в кабинет и велел его не беспокоить. В десятом Степанида ушла спать, в одиннадцатом — сама Марфа. Прошка вернулся с улицы поздно, с разбитой губой, за что был обруган. Дворник Ерофей спал в своей каморке при сенях и, как всегда, ничего не слышал, потому что глух.

— Хорошо, — сказал Ремизов. — Теперь про кабинет. Печь там кто топит?

Ключница впервые за весь разговор подняла глаза.

— Так не топим мы её.

— Как — не топим?

— Дымит она, — сказала Марфа Лукинична. — С прошлой недели задымила. Затопили в первый раз — полкомнаты дыму, барин раскашлялся, велел загасить. На другой день опять пробовали, то же самое. Он и сказал: не топить, покуда трубочиста не позовём.

Ремизов помолчал.

— Сколько дней не топили?

— Девятый, — не задумываясь ответила ключница. — С третьего числа.

— А трубочист?

— Обещался прийти во вторник. Не пришёл. Они всегда так.

— В комнате было холодно?

— Холодно, — сказала она. — Я ему грелку носила под ноги и плед. Он серчал, а брал.

* * *

Степанида, кухарка, оказалась женщиной, для которой всякий вошедший в кухню человек прежде всего голоден, а уже потом начальник сыска.

— Да вы садитесь, батюшка, садитесь, — приговаривала она, двигая к нему миску. — С утра ведь на ногах, я видела. Щи вчерашние, а вчерашние-то они и лучше.

— Степанида, я спросить хотел.

— Так спрашивайте, кто ж вам мешает. Вы ешьте и спрашивайте.

Он поел. Это оказалось разумнее, чем спорить, и, кроме того, за одиннадцать лет при доме кухарка знала о нём больше, чем ключница, — потому что ключница знала порядок, а кухарка знала людей.

— Барин последнее время какой был?

— Плохой, — сказала Степанида, гремя ухватом. — Совсем плохой. Не ел ничего, гонял всех. И спал худо.

— Отчего худо?

— Так шумит у него.

Ремизов отложил ложку.

— Что шумит?

— В стене шумит. — Она обернулась, вытирая руки. — Он и мне жаловался, и Марфе. Ночью, говорит, скребёт кто-то, как мышь, только больше мыши. Марфа ему: барин, дом старый. А он серчал.

— С каких пор?

— Да с тех же, батюшка, — сказала кухарка, подумав. — Как печь задымила, так и заскребло.

* * *

Лакея Прошку он допрашивал последним и уже на улице, во дворе, потому что парень в кухне сидеть не мог — вскакивал и ходил.

— Не убивал я, — говорил он. — Ваше высокородие, не убивал. Мне-то с чего? Он мне жалованье платил.

— Я знаю, что не убивал.

Прошка остановился.

— Как знаете?

— Ты дрался у ворот в половине одиннадцатого, — сказал Ремизов. — При шести свидетелях. Вернулся, когда обвод стоял четвёртый час, и тебя впустили — значит, обвод снимали?

— Не снимали, — торопливо сказал лакей. — Я через чёрное крыльцо, там... — он осёкся.

— Там что?

Прошка посмотрел в сторону.

— Там обвод тоже стоит, — сказал он тихо. — Я до рассвета в дровянике просидел. В доме бы не заметили. Марфе

не говорите, ваше высокородие, она меня со свету сживёт.

Ремизов постоял, глядя на него.

— То есть ночью тебя в доме не было вовсе.

— Не было.

— И ты молчал об этом полдня, пока тебя вязали.

— Так за дровяник-то тоже выгонят, — рассудительно объяснил Прошка.

* * *

Дворника Ерофея допрашивать было тяжело.

Он был очень стар, глух на левое ухо и, кроме того, твёрдо убеждён, что человек, задающий вопросы, непременно хочет его за что-нибудь наказать. Поэтому на всякий вопрос он сначала отвечал «виноват», а потом уже думал.

— Ерофей, я не про тебя спрашиваю.

— Виноват.

— Ты в ту ночь спал?

— Спал, — сказал дворник и тут же испугался. — Виноват.

Гринька в углу давился.

Ремизов зашёл с другой стороны — сел рядом, с правой руки, и заговорил не про ночь, а про двор: сколько дров, где поленница, когда чистят снег. Старик отвечал охотно; двор был его хозяйство, и про хозяйство он говорил без страха.

— А крышу кто чистит?

— Крышу? — Ерофей пожевал губами. — Крышу зимой я не лажу, ноги. Кровельщик по осени лазил, в листопаде

ещё, до снега.

— Один?

— Один. Как всегда.

— А после него кто-нибудь на крыше был?

Старик задумался надолго.

— Голуби гремели, — сказал он наконец.

— Что?

— Голуби, — повторил дворник. — На той неделе, в ночь на четверг. Загремели на крыше, я и проснулся. Думал, коты. Утром вышел, глянул — снег на скате сбит, а следов нету, замело. Ну, думаю, голуби.

Ремизов не сразу ответил.

— В ночь на четверг, — сказал он. — Это второе число?

— Не знаю, батюшка, я числа не считаю. В ночь на четверг.

— А печь в кабинете задымила когда?

— В пятницу, — с готовностью сказал Ерофей. — В пятницу и задымила. Я ещё дров подкидывал, думал, дрова сырые.

Он посмотрел на Ремизова снизу вверх и на всякий случай добавил:

— Виноват.

* * *

В управе Гринька навалил на стол бумаг из Податной палаты столько, что стол перестал быть виден.

— Недоимщики, — торжественно объявил он. — За год.

Я по алфавиту разложил.

— По суммам разложи.

— Так по алфавиту же красивее.

— По суммам, — сказал Ремизов. — И отдельно тех, кому Мошнин на этой неделе подписывал бумаги.

Писец завздыхал и полез разбирать заново. Кулага, сидевший у печи, наблюдал за этим с удовольствием человека, которому не надо разбирать.

— Тихомир Спиридонович. Что такое домовая роспись?

Подьячий приоткрыл один глаз.

— Гильдейская опись. По каждому дому, где домашняя чудь при хозяйстве числится. С неё налог берут, три рубля с головы в год.

— В доме восемь по Свечному она есть?

— Должна быть. Дом старый.

— Гринька, — сказал Ремизов. — Найди.

Роспись нашлась через час, в самом низу третьего короба, — узкий лист с гильдейской печатью. Ремизов развернул его и прочёл вслух:

— «Дом восьмой по Свечному взвозу, владение Мошнина А. Г. Домашняя чудь при доме: дымник, разряд третий, домашний, безвредный. При доме состоит с тысяча сто шестьдесят второго года. Налог уплачен вперёд до конца года».

Он положил лист на стол.

В комнате стало тихо. Гринька перестал шуршать. Кулага открыл второй глаз.

— Ну да, — сказал подьячий. — Дымник. У половины взвоза дымники. Дом без дымника — как дом без кота.

— Тихомир Спиридонович. Сегодня утром я спросил вас, кто в ту ночь был в доме. Вы ответили: четверо да покойник.

— Так и было.

— В доме было шестеро.

Кулага открыл рот, закрыл и посмотрел на роспись так, будто она сама только что подползла к нему по столу.

— Так его ж... — начал он и остановился. — Его ж никто за жильца не держит.

— Знаю, — сказал Ремизов. — Вот это меня и беспокоит.

* * *

— По суммам, — сказал Гринька и положил перед ним лист. — Как велели. Ваше высокородие, я тут ночевать буду?

— Читай.

— Первым идёт купец второй гильдии Зыков Пантелей Саввич, откупщик по соляному ряду. За ним недоимки на одиннадцать тысяч четыреста, и по всем Мошнин восемь раз давал отсрочку.

— Восемь?

— Восемь. — Писец водил пальцем. — Последнюю — двадцать девятого прошлого месяца. А третьего числа сего Мошнин подписал бумагу о ревизии соляного ряда. Своей рукой.

Ремизов взял лист.

— Третьего числа.

— Третьего, — подтвердил Гринька. — А тут вот ещё, я отдельно выписал. Племянник покойного, Аркадий Мошнин. Он не по недоимкам, он по векселям — три векселя на общую тысячу двести, все просрочены, и дядя их скупил.

— Скупил векселя племянника?

— Скупил, — сказал Гринька с наслаждением. — И держал. Мне в палате писарь сказал, что они по этому поводу в позапрошлом месяце при всех кричали друг на друга в коридоре.

Кулага у печи хмыкнул.

— Вот и всё дело ваше, Андрей Ильич. Векселя, наследство, крикун-племянник. Это по-нашему, это суд поймёт. Никакой чуди не надо.

— Где он был в ночь на десятое?

— А вот это, — сказал подьячий, — я вам к утру и добуду.

* * *

Про дымников ему рассказывали в три голоса и с непременным смехом, потому что рассказывать про дымника серьёзно в Стрежне считалось так же нелепо, как серьёзно рассказывать про печную заслонку.

Дымник живёт в трубе. Он не человек и не зверь, ростом с кошку, видом — как ком сажи, если сажа умеет смотреть. Кормится тёплым дымом, тем, что идёт от своей печи. Пока печь топится, дымник сыт, доволен и ничем себя не обнаруживает; хозяева его за всю жизнь могут ни разу не увидеть, только слышат иногда. Пользы от него ровно одна: труба, в

которой живёт дымник, не занимается огнём. Оттого в старых домах их и держат, платят три рубля в год и не поминают всуе.

— Опасны? — спросил Ремизов.

— Кто, дымники? — Кулага фыркнул. — Ребёнок за хвост таскает. Их же ловят и в другой дом продают, когда труба новая. Рубля за два.

— А если печь не топить?

— Так это как кота не кормить, — пожал плечами подьячий. — Уйдёт в другой дом. Они ж не привязанные.

— А если из дома не выйти?

Кулага не ответил.

За окном темнело. Гринька, забывший про свои столбцы, смотрел на них обоих, приоткрыв рот.

— Девять дней, — сказал Ремизов. — Печь в кабинете не топили девять дней. И девять дней подряд Мошнин слышал, как в стене скребёт что-то больше мыши. А по ночам дом стоял под обводом, и из дома нельзя было выйти. Никому.

— Ни человеку, ни нелюдю, — медленно проговорил Кулага. — Ни бумаге в щель.

— Ни коту, — сказал Ремизов.

* * *

Чародей Верещага явился к семи, сердитый, что его вызвали, и с ходу заявил, что заключение уже подано и добавить ему нечего.

Он был молод, лет двадцати восьми, с той особой обидчи-

востью, которая бывает у людей второй ступени, знающих, что первую им не дадут.

— Меня интересует одно, — сказал Ремизов. — Ваш обвод считает домашнюю чудь?

Верещага посмотрел на него как на дурака.

— Обвод не считает. Обвод держит.

— Кого?

— Всех, кто через него идёт.

— А тех, кто через него не идёт, потому что уже внутри?

Чародей открыл рот для быстрого ответа и не сказал ничего.

— Так ведь... — начал он. — Так ведь домашняя чудь — она же при доме. Она и есть дом. Её не держат, её и не считают. Она внутри всегда.

— То есть ваш обвод её не касается.

— Не касается, — сказал Верещага. И, помолчав, прибавил уже другим голосом: — Но это же дымник.

— Это, — сказал Ремизов, — единственное живое существо в том доме, которое девять дней ничего не ело.

* * *

Милава Ратмировна ждала его в управе, хотя часы били девять и все давно разошлись.

Она сидела у стола Кулаги, прямая, в шубе внакидку, и читала домовую роспись.

— Вы запросили дело о переселении дымника, — сказала она вместо приветствия. — Двенадцать лет назад, с Ко-

жевенной. Зачем?

— Хочу знать, что бывает, когда их морят.

— Ничего не бывает. Они уходят.

— Из дома под обводом не уходят.

Она сложила лист вчетверо и положила на стол.

— Андрей Ильич. Я скажу это один раз. Если вы напишете в деле, что смотрителя Податной палаты извёл домашний дымник, вас поднимут на смех, а после снимут. В империи нет закона, по которому за смерть человека отвечает домашняя чудь третьего разряда. Нет статьи. Нет наказания. Нет даже слова.

— А что есть?

— Есть предписание Гильдии, — ровно сказала она. — Чудь, причинившая вред, изводится. Без суда, потому что суда для неё нет. Приходит чародей и изводит.

Ремизов сел напротив.

— Милава Ратмировна, я не сказал, что дымник кого-то извёл. Я сказал, что девять дней не топили печь. Кто-то ведь сделал так, чтобы её не топили.

— Труба задымила.

— Трубы не дымят по вторникам, — сказал Ремизов. — Трубы дымят, когда в них что-то есть.

Она молчала долго.

— Вы поэтому просили меня о Верещаге сегодня к вечеру?

— Я просил о Верещаге, потому что послезавтра тут со-

знаётся человек, который ночевал в дровянике. — Ремизов посмотрел на неё. — Он и сейчас, между прочим, сознается. Ему квартальный уже объяснил, что за дровяник выгонят, а за признание, может, и помилуют.

Милава Ратмировна встала, поправила шубу и пошла к двери. У порога остановилась.

— Вы вчера спрашивали про переход, — сказала она. — И я вам ответила короче, чем следовало. Обратный переход возможен в основании. Это не пустое слово: значит, никто не доказал, что он невозможен. Но за пятьсот лет Гильдия не сделала ни одного.

— Почему?

— Потому что не с кем было пробовать, — сказала она. — Вы у нас первый за пятьдесят четыре года.

Дверь закрылась. Ремизов остался сидеть.

Первый за пятьдесят четыре года.

Значит, до него был ещё один.

Глава третья

Аркадий Мошнин принял их в халате, в двенадцатом часу дня, и это было первое, что Ремизов о нём узнал.

Второе он узнал, оглядев комнату: обстановка стоила втрое больше квартиры, а на подоконнике лежала стопка неоплаченных счетов из лавки готового платья — той самой, что под управой.

— Дядюшка, — сказал Аркадий, наливая себе чаю и не предлагая гостям. — Да. Печально. Я, знаете, до сих пор не осознал.

Ему было лет двадцать восемь, он был красив тем ровным, ничего не выражающим лицом, какое бывает у людей, никогда не работавших, и говорил быстро, глядя чуть выше собеседника.

— Вы виделись с ним в последний раз когда?

— Ох. — Аркадий пошевелил пальцами. — В прошлом месяце? Или раньше. Мы, знаете, не были близки.

— Вы кричали друг на друга в коридоре Податной палаты. При свидетелях. Восемнадцатого числа.

Пальцы остановились.

— Кто вам сказал?

— Писарь.

— Писари, — сказал Аркадий с чувством, — суть язва этого города. — Он отпил чаю. — Ну кричали. Дядюшка вы-

купил мои векселя и держал их у себя, как держат собаку на цепи, чтоб лаяла, когда велят. Я просил переписать сроки. Он отказал и прочёл мне проповедь о бережливости, сидя в доме, который топят четыре печи.

— Три, — сказал Ремизов.

— Что?

— В его доме топят три печи. Четвёртая, в кабинете, дымит с третьего числа.

Аркадий пожал плечами.

— Мне-то откуда знать.

— Где вы были в ночь на десятое?

— Дома.

— Один?

— Один, — сказал Аркадий и посмотрел прямо на него, в первый раз за весь разговор. — И слуги моей в ту ночь не было, я её отпустил. Так что подтвердить некому, и вы, разумеется, сейчас решите, что это подозрительно.

— Я решу это позже, — сказал Ремизов. — Скажите, вы бывали у дяди в доме?

— Бывал. В детстве. Летом гостил.

— На крышу лазили?

Аркадий засмеялся.

— Что за вопрос?

— Обыкновенный. Мальчишки лазят на крыши.

— Лазил, — сказал он, отсмеявшись. — И с крыши в слуховое окно, и по трубам, и дымника ихнего пугал, покуда дя-

дюшка меня однажды не поймал и не выпорол. Вот вам моё преступление, извольте записать.

Гринька, не поднимая головы, записал.

* * *

Наместник Стрежня Аполлинарий Егорович Тучков-Заречный принимал в зале, где могло бы поместиться отделение конной стражи.

Он был мал ростом, кругл и говорил так, будто в комнате постоянно находился ещё кто-то важный, к кому и обращена речь.

— Второй день, — сказал он, не здороваясь. — Из отпущенных трёх второй день. Податная палата подала мне записку. Знаете, что в записке?

— Догадываюсь.

— В записке сказано, что чиновник государевой службы убит в собственном доме и что городской сыск занят чтением росписей. — Наместник взял со стола лист и потряс им. — Росписи, Андрей Ильич! Домовые росписи! Мне доложили, что вы затребовали в Гильдии дело о переселении дымника с Кожевенной улицы двенадцатилетней давности. Это правда?

— Правда.

— Зачем?!

— Затем, что в доме Мошнина девять дней не топили печь, — сказал Ремизов. — И затем, что в ту же неделю кто-то ходил по крыше.

Наместник опустился в кресло.

— Голуби, — сказал он. — Мне и это доложили. Голуби, Андрей Ильич. Вы понимаете, как это будет выглядеть, когда я стану докладывать в столицу? Начальник сыска, выписанный из иного мира по государеву указу за десять тысяч рублей гильдейских расходов, ведёт следствие по голубям.

— За сколько? — переспросил Ремизов.

Тучков-Заречный осёкся.

— Я говорю не о том, — сказал он холодно. — Я говорю, что у вас в кухне сидят четверо, из которых один — молодой, чужой в доме, взятый весной, с разбитой губой и без всякого объяснения, где он провёл ночь. Возьмите его, добейтесь признания, и город успокоится.

— Он провёл ночь в дровянике.

— Тем лучше! — оживился наместник. — Прятался!

— Мёрз, — сказал Ремизов. — Ваше сиятельство, я не могу представить суду человека, который в момент смерти находился за стеной дома, куда, по гильдейскому заключению, нельзя было войти.

— Так вы же в это заключение не верите.

Это было неожиданно точно, и Ремизов на мгновение потерял нить.

— Мне докладывают, — сказал Тучков-Заречный с удовольствием. — Мне решительно всё докладывают, Андрей Ильич. Вы не верите в обвод, вы не верите в чародейство, вы, кажется, и в дымников не верите, а между тем ведёте дело так, будто верите в них одних. — Он развёл руками. — Зав-

тра к вечеру. Или я передам дело в Податную палату, и они сами найдут виноватого. Они найдут быстро, уверяю вас.

* * *

— Посылали, — сказал Гринька, отдуваясь. — За трубочистом посылали, ваше высокородие. Четвёртого числа, с утра, Марфа Лукинична сама и посылала — в артель на Гончарной, к старосте Ивану Плахову.

— И?

— И он пришёл. В понедельник, шестого, к обеду.

Ремизов положил перо.

— Пришёл?

— Пришёл, — торжествующе сказал писец. — Староста говорит: посылал парня, парень ходил, вернулся и сказал, что работы нет, отменили.

— Кто отменил?

— А вот. — Гринька сник. — Староста не помнит. Говорит, парень сказал — на дому отказали. А в доме мне Марфа Лукинична говорит: никто не приходил, они всю неделю ждали и серчали.

— Кто из них врёт?

— Так в том и беда, что оба не врут, — вмешался Кулага, не открывая глаз. — Староста своего парня знает, а ключница дом знает. Значит, парень до дому не дошёл.

— Или дошёл, — сказал Ремизов, — и его завернули у ворот.

— Кто?

— Тот, кому надо было, чтоб трубу не чистили.

Он придвинул к себе лист.

— Гринька. Как звать парня?

— Никишка. Никифор, по артельной книге — Сиплов. Прозвище Сиплый.

— Веди его.

Гринька убежал и вернулся через два часа один, мокрый и несчастный.

— Нету, — сказал он. — С девятого числа на работу не выходит. Артель серчает, вычитает из доли. Дома тоже нет, хозяйка говорит — съехал.

— С девятого, — повторил Ремизов.

— С девятого, — подтвердил Гринька. И, помолчав, спросил осторожно: — Это ведь плохо, да?

— Это, — сказал Ремизов, — было бы очень хорошо, если бы у меня были сутки на розыск. А у меня их нет.

* * *

Купца второй гильдии Пантелея Саввича Зыкова он застал в лабазе на Соляном ряду, среди мешков, весов и запаха, от которого щипало в носу.

Зыков был широк, приветлив и разговаривал так, будто они старые знакомые и последний раз виделись на прошлой неделе.

— Аникей Гаврилыча? — Он сокрушённо покачал головой. — Слыхал, слыхал. Такой человек. Строгий был, но справедливый. Мы с ним, знаете, восемь лет как... — он по-

искал слово, — сотрудничали.

— Восемь отсрочек, — сказал Ремизов.

— И это верно! — обрадовался купец. — Восемь. Строгий, но входил в положение. Соль, ваше высокородие, товар обманчивый. Она отсыревает.

— Третьего числа он подписал бумагу о ревизии соляного ряда.

Зыков перестал улыбаться ровно на одно мгновение — и тут же заулыбался снова, шире прежнего.

— Так и слава богу, — сказал он. — Давно пора. У нас в ряду такое творится, вы не поверите. Я сам первый за ревизию.

— Где вы были в ночь на десятое?

— В Заречье. У кума на именинах, с вечера и до утра, человек сорок гостей. Хотите — список составлю. Вот прямо сейчас и составлю, и подпишу.

Он и правда составил, тут же, на весовой книге, и подписал, и протянул с поклоном.

Ремизов сложил лист вчетверо и убрал.

Сорок свидетелей. И ни один из них не нужен человеку, которому не надо было входить в дом.

* * *

Он опоздал на четверть часа.

В управе, в задней комнате, за столом сидел Фомич, перед ним стоял лист, а на листе уже было написано сверху: «Показание Прохора Ильина сына Стрельцова, добровольное».

Прошка стоял у стены, серый, и на вопросы отвечал одним и тем же голосом, каким читают заученное.

— ...и, будучи в помрачении, поднялся я в кабинет...

— Прекратить, — сказал Ремизов.

Квартальный поднял голову. В его круглом лице не было ни хитрости, ни злобы — только усталое недоумение человека, которому мешают делать работу.

— Ваше высокородие, он сам.

— Прошка. Ты был в доме ночью?

Лакей молчал.

— Отвечай.

— Был, — сказал Прошка в пол.

— Врёшь. Ты сидел в дровянике до рассвета и просил меня не говорить Марфе. При двух свидетелях.

— Так это... — Прошка сглотнул. — Так Кондратий Фомич говорят, за дровяник каторга, потому обвод казённый нарушен, а за помрачение — плети и на поселение.

Ремизов взял со стола лист, посмотрел на него и разорвал пополам.

— Ваше высокородие! — Фомич вскочил. — Да что ж это!

— Кондратий Фомич. Сколько дел вы за тридцать лет закрыли признанием?

— Да все, почитай.

— И сколько раз потом настоящий виноватый попадался на другом деле?

Квартальный открыл рот.

— Так это ж, — сказал он, — дело-то было уже закрыто.

— Вот об этом я и говорю, — сказал Ремизов и вышел.

В коридоре его догнал Кулага.

— Зря вы при нём порвали, — сказал подьячий, шагая рядом. — Он теперь до самой смерти будет рассказывать, как приезжий начальник рвёт добровольные показания.

— Пусть рассказывает.

— Да я не в осуждение. — Кулага помолчал. — Я в том смысле, что вам бы союзника, а вы всё врагов набираете. Наместник, квартальный, Податная палата. Гильдия и та на вас косо.

— А вы?

Подьячий пошевелил бровями.

— А я, Андрей Ильич, тридцать лет служу и научился не спешить. — Он достал из-за пазухи бумажку. — Вот вам про племянника. В ночь на десятое господин Аркадий Мошнин с одиннадцати вечера до шести утра просидел в игорном доме на Малой Мытной. Двадцать два свидетеля, из них четверо — люди приличные. Проиграл сто сорок рублей и в четвёртом часу пробовал заложить перстень.

Ремизов остановился посреди коридора.

— Он сказал, что был дома.

— Соврал, — согласился Кулага. — А как не соврать? Ему б признаться, что он в ту ночь просаживал последнее, а наутро получил наследство. Он и решил, что так выйдет пристойнее.

— И векселя?

— А векселя, — сказал подьячий, разворачивая вторую бумажку, — покойный дядюшка простил ему две недели назад. Восемнадцатого числа, после того самого крику в коридоре. Порвал при свидетелях, и племянник об этом до сих пор не знает, потому что дядя ему сказать не успел, а писарь смолчал.

Ремизов прислонился к стене.

Полтора дня. Полтора дня он вёл единственную человеческую версию, которая объясняла всё: деньги, злобу, крышу, детство в этом доме, — и версия рассыпалась не в свою пользу, а в чужую, и рассыпалась настолько полно, что от неё не осталось даже сомнения.

— Двадцать два свидетеля, — сказал он.

— Двадцать два.

— Тихомир Спиридонович, у меня сутки.

— У вас, — уточнил Кулага, — сутки и один лакей, которого завтра к вечеру заберут в Податную палату. Там его признание получат за час, и, между прочим, без всякого зверства. Просто он молодой и устал.

* * *

Он вернулся на Свечной взвоз в шестом часу, когда уже стемнело.

Дом стоял пустой. Прислугу перевели в управу, у крыльца дежурил городовой, окна были тёмные, и только в сенях горела дежурная лампа.

Ремизов поднялся по четырнадцати ступеням и вошёл в кабинет.

Здесь ничего не изменилось. Стол, кресло, конторка, шкаф с картонными коробами. Гринькин чертёж лежал у него в кармане, и он развернул его и положил на стол, придавив тем же медным грузиком.

Одиннадцать шагов от двери до стола.

Он прошёл эти одиннадцать шагов туда и обратно. Потом сел в кресло — не в то, в котором сидел Мошнин, а на стул сбоку, — и стал ждать, сам не зная чего.

Холод он заметил не сразу.

Сначала это был просто холод нетопленой комнаты, обыкновенный, ноябрьский, с того сорта, к которому притерпеваешься за четверть часа. Потом Ремизов поймал себя на том, что сидит, сунув руки под мышки, и что дыхание идёт паром, хотя в сенях, двумя этажами ниже, пара не было.

Он посмотрел на лампу. Пламя стояло ровно.

Потом в стене заскребло.

Звук был негромкий и совершенно домашний — так скребёт кошка, когда просится в дверь. Он шёл из-за печи, снизу, и в нём не было ничего страшного, кроме одного: он повторялся ровно, с одинаковыми промежутками, как повторяется то, что делает не зверь, а нужда.

Ремизов встал и подошёл к печи.

Дверца была холодная. Он открыл её и заглянул внутрь: слежавшаяся зола, чёрный зев дымохода, и оттуда, изнутри,

тянуло не теплом и не сквозняком, а чем-то другим — как тянет от полыньи.

— Эй, — сказал он в темноту. Голос вышел чужой.

Скрежет прекратился.

Он не помнил потом, сколько простоял на коленях у печной дверцы. Помнил, что становилось всё труднее удерживать мысль: она соскальзывала, как соскальзывает нога на льду, — и он ловил её, и снова соскальзывала. Помнил, что подумал о лампе: пламя горело ровно, значит, воздуха довольно, значит, дело не в воздухе. Помнил, что мысль показалась ему очень важной, и что он попытался достать из кармана карандаш и записать её на Гринькином чертеже, и что пальцы карандаша не удержали.

Помнил, что до двери было одиннадцать шагов.

Потом он услышал, как внизу хлопнула дверь, и как кто-то, ругаясь на всех лестницах сразу, поднимается по ступеням, и как Кулага говорит откуда-то очень издалека:

— Андрей Ильич. Андрей Ильич, вставайте. Ну?

Его вытащили на площадку, и там оказалось тепло — обыкновенно, до одури тепло, хотя на площадке всю ночь никто не топил.

— Который час? — спросил Ремизов.

— Второй, — сказал Кулага. Он был без шапки и очень бледный. — Городовой ко мне прибежал, говорит: свет в кабинете горит, а начальник не выходит и не отзывается. Вы там четыре часа сидели.

— Я сидел четверть часа.

— Четыре, — сказал подьячий. — Я на часы смотрел.

Ремизов посмотрел на свои руки. Пальцы были белые и не гнулись.

— Тихомир Спиридонович, — сказал он. — Он не убивал. Он ел.

— Кто?

— Ему нечего было есть девять дней, — сказал Ремизов. — А Мошнин был тёплый.

Глава четвёртая

Лекарь Штоф пришёл в седьмом часу утра, посмотрел на его руки, послушал, помолчал и сказал:

— Обморожения нет.

— А что есть?

— Ничего, — раздражённо сказал Штоф. — В том и дело, что ничего. Вы четыре часа просидели в комнате, где было градусов пять тепла. Пять тепла, Андрей Ильич, — это не мороз, это ноябрьские сени. От этого не теряют счёт времени и не роняют карандаш.

— Значит, было холоднее.

— Значит, было холоднее. Только градусник, который вам туда поставил ваш подьячий, показывал пять.

Ремизов сидел, обхватив ладонями кружку с кипятком. Кулага у окна набивал трубку и делал вид, что его тут нет.

— Штоф. Что вы написали про Мошнина?

— Скоропостижно.

— А если бы вы не знали, что он умер в тёплом доме? Если бы вам его принесли с улицы, из-под забора, в декабре?

Лекарь долго молчал.

— Тогда бы я написал «от стужи», — сказал он наконец. — И, пожалуй, не задумался бы. Он сидел, откинувшись, руки на подлокотниках, лицо покойное. Так замерзают, когда уже перестают мёрзнуть.

— И вы не написали этого, потому что...

— Потому что в комнате была лампа, ковёр и барин в домашних башмаках, — сказал Штоф. — Человек не может замёрзнуть в собственном кабинете, Андрей Ильич. Это не медицина, это здравый смысл.

— Здравый смысл, — сказал Ремизов, — это то, что мешает нам видеть. Он всегда объясняет уже виденное и никогда — новое.

* * *

На крышу он полез в девять утра, и это была самая дурацкая четверть часа за всю его службу в обоих мирах.

Крыша была жестяная, скат крутой, снег лежал коркой. Внизу, на взвозе, собирались зрители: сначала мальчишки, потом бабы, потом извозчик остановился посмотреть. Кулага стоял у слухового окна, держал верёвку, обвязанную вокруг Ремизова, и комментировал.

— Правее, Андрей Ильич. Ещё правее. Вон та труба, с колпаком, — это соседского дома. Ваша дальняя.

— Спасибо.

— Не за что. Вы там осторожнее, а то мне потом объясняться, отчего начальник сыска с крыши упал. Скажут: расследовал голубей.

Труб на крыше было четыре, и все одинаковые: кирпичные, с железными колпаками от дождя. Ремизов добрался до дальней, той, что шла от кабинетной печи, ухватился за колпак и заглянул внутрь.

В темноте дымохода что-то было.

Он снял варежку, сунул руку в трубу по локоть и нащупал проволоку — жёсткую, витую, петлёй закреплённую за внутренний уступ кладки, у самого края. Проволока уходила вниз.

Он потянул. Пошло тяжело.

Из трубы, царапая кладку, поднялся мешок.

Обыкновенный мешок из-под соли, набитый чем-то плотным и обвязанный крест-накрест. Ремизов положил его на скат, придержал коленом и распустил узел. Внутри лежали три кирпича, переложенные тряпьём, чтобы не гремели, — и вся эта связка, спущенная на проволоке, висела в дымоходе примерно на аршин ниже устья, перекрывая его на две трети.

Не насмерть. Так, чтобы труба не перестала тянуть совсем, а стала дымить.

— Тихомир Спиридонович, — позвал Ремизов. — Поднимитесь-ка сюда.

— Мне и здесь хорошо.

— Поднимитесь.

Кулага, кряхтя и поминая всех, кого положено, выбрался на скат и посмотрел на мешок. Потом на проволоку. Потом на Ремизова.

— Ах ты ж, — сказал он тихо.

— Смотрите на узел. Не развязывали, а срезали бы — нет, узел цел, петля рабочая. Это не забыли и не обронили. Это повесили так, чтобы можно было снять. Один раз опустил,

другой раз вынул — и труба чиста, и никто ничего не докажет.

— И следа не осталось бы, — сказал подьячий.

— И следа. — Ремизов сел на корточки. — Вот вам, Тихомир Спиридонович, весь ваш обвод. Убийце не надо было входить в дом. Ему нужно было, чтобы восемь дней не топили одну печь.

Кулага смотрел на мешок с кирпичами так, будто увидел его впервые в жизни.

— Голуби, — сказал он.

— В ночь на четверг, — согласился Ремизов. — Второе число. В пятницу труба задымила.

* * *

Артель трубочистов на Гончарной помещалась в подвале, и все, кто в ней был, немедленно оказались заняты.

Староста Иван Плахов, чёрный от въевшейся сажи, с белыми складками у глаз, разговаривал стоя и вытирал руки о фартук, хотя руки были сухие.

— Никишку? — Он оглянулся на своих. — Так нет его. Восьмой день нет.

— Иван, — сказал Ремизов, — четвёртого числа тебе прислали из дома номер восемь по Свечному. Просили прочистить трубу.

— Прислали.

— Кого ты послал?

— Никишку и послал. — Плахов пожал плечами. — Свеч-

ной взвоз — его сторона, он там третий год ходит. Все трубы знает, все дымники ему как родня.

— Он вернулся и сказал, что работу отменили.

— Сказал.

— И ты не проверил?

Староста посмотрел на него с искренним изумлением.

— А чего проверять? Отменили и отменили. Мне же лучше, я его на Кожевенную услал, там срочное было.

Ремизов помолчал.

— Иван. Кто в вашей артели знает, в каких домах на взвозе дымники?

— Да все знают.

— А кто знает лучше всех?

Плахов открыл рот, чтобы ответить, и не ответил.

— Никишка, — сказал за него кто-то из угла подвала. — Он их подкармливал. Он с ими, ваше высокородие, разговаривал.

* * *

— Он в городе, — сказал Ремизов.

— С чего вы взяли? — Кулага скептически смотрел на карту Стрежня, которую Гринька прибил к стене четырьмя гвоздями и одним пальцем. — Восьмой день бегает. Я бы на его месте до Заречья дошёл и дальше пошёл.

— На его месте — да. Но вы человек с жалованьем. А у него доля в артели.

— Доля?

— Артельная доля, — сказал Ремизов. — Он третий год ходит по взвозу и третий год копит. Если он уедет из города, доля пропадёт, её разделят на всех. Он не уедет, пока не убедится, что за ним не идут. Он сидит близко, ждёт и считает дни.

Гринька выпучил глаза.

— А как же его тогда искать? Город-то большой!

— Не город. — Ремизов взял карандаш и обвёл на карте кусок за рекой. — Он съехал девятого. Значит, съезжал в спешке, значит, недалеко и туда, где не спросят бумаг. Постоялые дворы за рекой, где берут посуточно. Их сколько?

— Одиннадцать, — сказал Кулага, подумав.

— Одиннадцать. Гринька, обойдёшь все. Не спрашивай про Никифора Сиплова.

— А про кого спрашивать?

— Спрашивай, не живёт ли у них жилец, который восьмой день не выходит на улицу и просит носить еду в комнату. — Ремизов положил карандаш. — Хозяева таких помнят. Такой жилец у них один на весь год, и они на него уже насмотрелись.

Писец записал, шевеля губами, перечитал, поднял голову и сказал с восторгом:

— А ведь и правда!

— Иди.

Когда за ним закрылась дверь, Кулага почесал бровь.

— Тридцать лет служу, — сказал он. — Мы бы его по

трактирам искали. По трактирам да по бабам, потому что человек в бегах непременно пьёт и непременно к бабе идёт.

— Иногда идёт.

— А вы, значит, полагаете, что он сидит и считает.

— Я полагаю, — сказал Ремизов, — что он трубочист, который подкармливает дымников. Такой человек не пьёт и не бежит. Такой человек прячется и мучается.

* * *

Милава Ратмировна пришла в тот же вечер и положила на стол сложенный вдвое лист с гильдейской печатью.

— Предписание, — сказала она. — Пока не подписано. Подпишут послезавтра.

Ремизов развернул.

«О изведении домашней чуди третьего разряда (дымник), при доме восьмом по Свечному взвозу состоящей, по причине причинённого оною вреда жизни человеческой...»

— Откуда они знают? — спросил он.

— От чародея Верещаги. Он молод и напуган. Он доложил, что начальник сыска расспрашивал его, касается ли обвод домашней чуди. — Она села. — Андрей Ильич, я вас предупреждала.

— Предписание пока не подписано.

— Оно будет подписано, как только вы напишете в деле слово «дымник». — Милава Ратмировна смотрела на него ровно. — И вы его напишете, потому что иначе у вас нет дела. У вас есть купец, желавший, чтоб в чужом доме было

холодно. По здешнему закону это порча имущества и умысел на здоровье. Три года поселения, и то если судья будет не в духе.

— А если напишу?

— Если напишете — купцу каторга, а дымнику изведение. И весь Стрежень будет три месяца пересказывать, как приезжий начальник сыска судил печную сажу. — Она помолчала. — Вас снимут. Не за ошибку. За смешное.

Ремизов сложил предписание и вернул ей.

— Милава Ратмировна. Скажите честно: вы за меня или за Гильдию?

— Я за то, чтобы вы дожили до следующего дела, — сказала она и ушла.

* * *

Никифора Сиплова взяли на другой день к вечеру, в Заречье, на постоялом дворе, куда он съехал девятого числа и где восьмой день пил чай и не выходил.

Ему было лет двадцать шесть, он был мелкий, гибкий, с той особой сутулостью, какая делается у людей, всю жизнь пролезающих в узкое. В управе он сел на табурет, положил руки на колени и сказал:

— Я не убивал.

— Знаю, — сказал Ремизов.

Никишка поднял голову. Он явно готовился к другому.

— Ты не убивал, — повторил Ремизов. — Ты повесил в трубу мешок с тремя кирпичами. За это по закону — порча

чужого имущества и штраф. Двадцать рублей.

— Двадцать? — растерянно сказал Никишка.

— Двадцать. — Ремизов сел напротив. — А теперь слушай меня внимательно, потому что второй раз я этого не скажу. В том доме девять дней не топили печь. В том доме жил дымник, зарегистрированный по гильдейской росписи с тысяча сто шестьдесят второго года. Он голодал девять дней, и на девятую ночь взял тепло у человека, потому что взять его больше было негде. Мошнин мёртв. Дымник по гильдейскому предписанию подлежит изведению — без суда, потому что для него суда нет.

Никишка сидел очень прямо.

— Он не виноватый, — сказал он.

— Знаю.

— Он старый. Он же не... — Трубочист задохнулся. — Он же не понимает, что делает. Он как кот. Кот мышь ест, так его судить?

— Кому ты его продал?

— Никому! — Никишка вскинулся. — Мне сказали — на неделю. Мешок повесить, через неделю снять, чтоб труба дымила и барин трубочиста звал, а я приду и сниму, и мне за это три рубля. Я думал — это чтоб работу мне дать. У нас так делают, ваше высокородие, у нас все так делают: подпортил — тебя же и позвали. Оно на копейку вреда, а на рубль заработку.

— И кто тебе сказал?

Никишка замолчал.

— Никифор. Через два дня чародей Гильдии пойдёт в тот дом изводить твоего дымника. Ты один можешь этому помешать.

— Как?

— Тем, что назовёшь мне человека, который заплатил тебе три рубля, — сказал Ремизов. — Потому что, пока в деле нет человека, виноватой останется чудь. Так у вас устроено.

Трубочист смотрел в пол очень долго.

— Приказчик, — сказал он наконец. — Соляной, с ряду. Хромой такой, Митрофан. Он от хозяина ходил.

— От какого хозяина?

— От Пантелея Саввича, — сказал Никишка. — От Зыкова.

* * *

— Три рубля, — сказал Ремизов.

Зыков сидел в управе на том же табурете, широкий, приветливый, и, кажется, не понимал, отчего все вокруг такие мрачные.

— Не понимаю вас, ваше высокородие.

— Три рубля вы заплатили за то, чтобы у Мошнина восемь дней не топили одну печь. Не десять тысяч наёмному убийце, не яд, не нож. Три рубля трубочисту за мешок с кирпичами. Дёшево.

— Помилуйте, какие кирпичи.

— Двадцать девятого числа прошлого месяца Мошнин

дал вам восьмую отсрочку и сказал, что она последняя. Так?

Купец развёл руками.

— Он всегда так говорил.

— В этот раз он не говорил. Он написал. — Ремизов положил на стол лист. — Вот отсрочка, ваша копия у вас в конторе, я её сегодня изъял. Внизу его рукой приписано: «Последняя. При неуплате к первому числу — ревизия». Первого вы не уплатили. В ночь на второе Никифор Сиплов повесил мешок в трубу. Третьего Мошнин подписал бумагу о ревизии.

Зыков молчал.

— Четвёртого из дома послали в артель за трубочистом. Староста отправил Сиплова — а Сиплов вернулся и сказал, что работу отменили. Он и был тот, кто её отменил.

— Это его слова против моих.

— Это его слова, слова старосты Плахова, слова вашего приказчика Митрофана Хромова, который вчера вечером всё подтвердил, — сказал Ремизов, — и мешок с тремя кирпичами, снятый мною с вашего... простите, с мошнинского дымохода при двух свидетелях и внесённый в опись.

— Мешок из-под соли, — вдруг сказал Кулага от печи. — Клеймо соляного ряда на боку. Я и не сразу заметил.

Зыков посмотрел на него, потом на Ремизова, и в лице у него что-то поехало — приветливость стекла, как стекает штукатурка, и под ней оказался человек, который очень устал считать.

— Я его не трогал, — сказал он хрипло. — Вы поймите.

Я его пальцем не тронул. Я хотел, чтоб дом был холодный. Чтоб он расхворался. Он расхворается, сляжет, ревизию отложат до весны, а к весне я бы вывернулся, я всегда выворачивался...

— Вы знали, что в доме дымник.

Зыков поднял голову.

— В каждом втором доме дымник, — сказал он. — И ни одного случая. Ни одного за всю жизнь! Кто ж знал, что оно так бывает.

— Никифор Сиплов знал, — сказал Ремизов. — Потому и просил снять мешок через неделю. А неделя прошла девятого числа.

Купец закрыл лицо руками.

Ремизов встал, подошёл к окну и стоял, глядя вниз на Приказную, где зажигали гильдейские фонари.

Он получил своего человека, свою улику и своё признание, и до срока, назначенного наместником, оставалось ещё три часа.

И ни одной из этих трёх вещей нельзя было написать в деле так, как всё было на самом деле.

— Андрей Ильич, — сказал Кулага за спиной. — Вам ведь ещё бумагу писать.

— Знаю.

— И вы уже решили, что в ней будет.

— Решил.

Подьячий выбил трубку о ладонь.

— Тогда я вам вот что скажу, покуда мы одни. Я тридцать лет пишу бумаги, в которых правды ровно столько, сколько её примут. И ни разу мне за это не было стыдно, потому что я в них ничего не выдумывал — я только не дописывал. — Он поднял глаза. — Вы сегодня будете не дописывать или всё-таки выдумывать?

Ремизов долго не отвечал.

— Не дописывать, — сказал он.

— Ну и слава богу, — сказал Кулага. — А то я уж думал, вы у нас честный.

Глава пятая

Прислугу отпустили в девять утра.

Степанида расплакалась и полезла обниматься, Марфа Лукинична сухо поклонилась и спросила, кто теперь будет платить жалованье, дворник Ерофей сказал «виноват» и пошёл домой. Прошка вышел последним, остановился на крыльце управы и долго стоял, глядя на улицу, как человек, который не вполне уверен, что улица настоящая.

— Ваше высокородие.

— Что?

— Меня выгонят, — сказал Прошка. — Из дому. Хозяйка приедет, узнает, что я в дровянике, и выгонит.

— Скажи ей, что тебя держали в управе трое суток и отпустили за непричастностью, — сказал Ремизов. — Про дровяник в деле ничего нет.

Лакей посмотрел на него.

— Как нет?

— Так. Нет.

Прошка постоял ещё немного, потом вдруг поклонился в пояс, неловко, как кланяются люди, которых этому не учили, и побежал вниз по Приказной.

Фомич наблюдал за этим из дверей.

— Всё одно бы сознался, — сказал он без злобы. — Вот попомните моё слово, ваше высокородие: годика через два

его на чём-нибудь возьмут, и он сознается. Такая уж порода.

— Кондратий Фомич, у вас в участке сколько дел за прошлый год?

— Сорок одно.

— И сколько из них закрыто признанием?

— Так все, — сказал квартальный и осёкся.

Он постоял, шевеля губами, что-то посчитал про себя и ушёл, не попрощавшись, и Ремизов подумал, что это, пожалуй, первый настоящий успех за три недели.

* * *

Наместник читал доклад дважды.

— «Смерть последовала от переохлаждения», — прочёл он вслух с недоверием. — В доме?

— В нетопленой комнате, — сказал Ремизов. — Дымоход был умышленно перекрыт с крыши. Восемь суток печь не топили. Комната выстыла, покойный был нездоров и стар, ночью температура упала.

— И этого довольно, чтобы человек умер?

— Городской лекарь Штоф подтвердил письменно, что при таких обстоятельствах написал бы «от стужи», не задумываясь.

Тучков-Заречный посмотрел на подпись Штофа, потом на опись, где значились мешок, три кирпича и полтора аршина витой проволоки.

— А голуби? — спросил он с надеждой.

— Голуби, ваше сиятельство, оказались человеком по

имени Никифор Сиплов.

Наместник дочитал до конца, отложил лист и вдруг сделался деловит.

— Купец Зыков, — сказал он. — Соляной откуп. Одиннадцать тысяч недоимки, восемь отсрочек и подписанная ревизия. — Он потёр ладони. — Андрей Ильич, вы понимаете, что вы мне принесли? Мне полгода не давали тронуть соляной ряд. А тут — умысел, порча имущества и смерть государева чиновника. Ревизия пойдёт завтра же.

— Мне бы хотелось, чтобы в приговоре стояла смерть.

— Это уж как суд решит. — Наместник помолчал и посмотрел на него другим, более внимательным взглядом. — Скажите, а зачем вы всё-таки лазили на крышу сами? У вас городовые есть.

— Городовой не знал бы, что искать.

— А вы знали?

— Нет, — сказал Ремизов. — Я знал, где не искал никто.

Тучков-Заречный побарабанил пальцами по столу.

— Вас будут пересказывать, — сказал он наконец. — В городе. Уже пересказывают. Начальник сыска на крыше, с верёвкой, при бабах и мальчишках. — Он вздохнул. — Я, признаться, рассчитывал на другое. Я рассчитывал, что вы окажетесь смешным. Тогда бы с вами было проще.

* * *

Дело писали до вечера.

Гринька выводил набело, высунув язык, а Ремизов дикто-

вал и на каждой третьей фразе останавливался.

Он диктовал про мешок, про проволоку, про клеймо соляного ряда. Про артельную книгу и про три рубля. Про приписку рукой Мошнина: «Последняя». Про то, что четвёртого числа из дома посылали в артель и что посланный не дошёл, потому что посланным был тот же Сиплов.

Он не диктовал про домовую роспись. Про три рубля годового налога, уплаченные вперёд. Про то, что в стене девять ночей подряд скреблось. Про четыре часа, которые показались ему четвертью часа. Про пламя лампы, стоявшее ровно, — потому что воздуха хватало, а тепла не было.

— А это куда? — спросил Гринька, когда дошли до конца, и показал карандашом на свой чертёж, лежавший с краю стола.

— В дело. Приложением.

— Так тут же... — Писец покраснел. — Тут же наверху написано «Обвод комнаты покойного». Глупо ведь.

— Не глупо, — сказал Ремизов. — Перепиши только: «План кабинета, снятый на месте, шагов от двери до стола — одиннадцать». А слово «обвод» вычеркни.

Гринька засопел и стал переписывать.

Кулага, читавший готовое дело у печи, дошёл до последнего листа, поднял голову и ничего не сказал.

Всё в этой бумаге было правдой. Ни одно слово в ней не было ложью. Мешок висел, труба дымила, печь не топили, комната выстыла, человек умер от стужи. Любой судья про-

чтёт и поверит, и будет прав.

И только одного в ней не было — того, что стояло девять дней в стене и брало тепло, потому что ему больше негде было его взять.

* * *

Суд назначили на первый день зимника, и Зыков до суда сидел в остроге на Спасской, куда Ремизов ездил ещё дважды.

В первый раз купец молчал. Во второй — заговорил сам, едва открылась дверь.

— Я всю ночь считал, — сказал он. — Ваше высокородие, я всю ночь считал и никак не сойдётся. Восемь дней. Восемь дней он мёрз и терпел, и грелку ему носили, и плед. Он мог в другую комнату перейти. У него дом в двенадцать комнат, из них три топленые. Отчего он не перешёл?

Ремизов сел на табурет у стены.

— Оттого, что там были его бумаги.

— Какие бумаги?

— Ревизия соляного ряда, — сказал Ремизов. — Он её готовил сам, по ночам, и не хотел выносить из кабинета. Он вас боялся, Пантелей Саввич. Он запирался изнутри на ключ, хотя дом стоял под обводом, — и запирался от вас.

Зыков долго смотрел в пол.

— Восемь отсрочек, — сказал он тихо. — Восемь. Я ему на именины гуся возил.

— И девятой не было бы.

— Не было бы, — согласился купец. — Так ведь я же и не просил девятой. Я просил только, чтоб он захворал.

Он поднял голову, и в лице у него было настоящее, ничем не прикрытое недоумение.

— Я же ничего не сделал, — сказал он. — Мешок повесил. Мешок с кирпичами, ваше высокородие. За мешок нельзя человека судить.

Ремизов встал.

— Пантелей Саввич, вы восемь дней держали в чужом доме открытую дверь и знали, что за ней. Это и называется сделать.

* * *

Гильдейский доклад он отвёз сам, на другой день, в дом на Соборной площади, где Гильдия чародейных наук занимала три этажа и где в приёмной сидели люди с одинаковыми лицами.

Милава Ратмировна прочла его при нём, не садясь.

Доклад был короткий. В нём говорилось, что дознанием установлена умышленная порча дымохода в доме восьмом по Свечному взвозу, повлёкшая смерть владельца от переохлаждения, что виновные установлены и преданы суду, и что признаков вреда, причинённого домашней чудью третьего разряда, дознанием не обнаружено.

Она дочитала до конца и подняла глаза.

— Не обнаружено, — повторила она.

— Не обнаружено.

— Андрей Ильич. Вы четыре часа просидели в той комнате и потеряли счёт времени.

— Я просидел четыре часа в нетопленой комнате в ноябре, — сказал Ремизов. — Мне шестьдесят лет спустя это подтвердит любой лекарь.

— Вам тридцать четыре.

— Тем более.

Милава Ратмировна положила лист на стол и очень долго его разглаживала.

— Верещага будет спорить.

— Верещаге двадцать восемь лет, и он второй ступени, — сказал Ремизов. — Он доложил вам своё соображение, а я привёз вам дознание. Если Гильдия предпочтёт соображение, я подам это письменно, и тогда спорить придётся уже вам — с наместником, который завтра начинает ревизию соляного ряда и которому очень не понравится, если его дело развалят из-за печной сажи.

Она посмотрела на него так, как смотрят на человека, впервые сделавшего ход, которого от него не ждали.

— Вы быстро учитесь, — сказала она.

— Три недели.

— Предписание не подпишут. — Милава Ратмировна взяла доклад и убрала в папку. — Но это не значит, что о нём забудут. У Гильдии долгая память и плохой почерк: то, что однажды записано, потом всплывает в самое неподходящее время.

— Я запомню.

— Запомните. — Она застегнула папку. — И ещё запомните вот что. Сегодня вы солгали не мне. Мне вы ничего не должны. Вы солгали в бумаге с гильдейской печатью, и это первая ваша здешняя долговая расписка. Их будет больше.

* * *

В дом на Свечном он пришёл вечером, один.

Хозяйка с дочерью приезжали только к концу недели, дом стоял под замком, ключ был в управе как вещественное. Ремизов отпер, вошёл, зажёг лампу в сенях и поднялся по четырнадцати ступеням.

В кабинете было холодно и очень тихо.

Он поставил лампу на стол, сходил вниз, принёс из-под лестницы охапку дров и растопил печь. Дрова взялись не сразу — тяга была ещё дурная, дымоход не чищен, — но потом загудело, и по комнате пошло то ровное, домашнее тепло, которое здесь не появлялось девять суток.

Ремизов сел на пол напротив открытой дверцы и стал ждать.

Ждать пришлось долго. Он успел продрогнуть, согреться, продрогнуть снова.

Потом в дымоходе зашуршало.

Он не двинулся. Шуршало осторожно, с остановками, спускаясь; потом стихло совсем близко, у самой заслонки, и что-то там, в темноте за огнём, устроилось и притихло — не показавшись, не выйдя, просто оказавшись рядом.

Скрежета не было.

— Ешь, — сказал Ремизов.

Он просидел так до полуночи, подкладывая дрова. Один раз ему показалось, что из темноты на него посмотрели, и он подумал, что это, конечно, дым и усталость, а потом подумал, что за три недели устал думать «конечно».

Уходя, он оставил заслонку открытой и на столе, придавив медным грузиком, — записку для хозяйки: печь в кабинете топить ежедневно, трубу чистить дважды в год, налог по домовой росписи вносить вперёд, как заведено при покойном.

Утром внизу его ждал Никишка Сиплов — под штрафом в двадцать рублей, с артельной щёткой и с мешком, теперь уже пустым.

— Староста послал, — сказал он, не поднимая глаз. — Трубу чистить.

— Иди чисти.

Трубочист потоптался.

— Ваше высокородие. А в бумаге про него... — Он не договорил.

— В бумаге про него ничего нет.

Никишка постоял, кивнул и пошёл наверх, и уже с лестницы, не оборачиваясь, сказал:

— Он вас теперь знает.

* * *

Степанида явилась к нему на Мытную в субботу, с узлом и с видом человека, принявшего решение за обоих.

— Хозяйка меня рассчитала, — объявила она с порога. — Говорит, дом продавать будем, куда мне кухарка. Я и подумала: а пойду-ка я к вам.

— Степанида, у меня одна комната.

— Я видела, — сказала кухарка, уже проходя внутрь. — Батюшки. Печь-то у вас который день не топлена?

— Топлена. Позавчера.

— Позавчера. — Она поставила узел на стул и посмотрела на него так, что Ремизов впервые за три недели почувствовал себя виноватым по-настоящему. — А ели вы когда?

— В управе.

— В управе, — повторила Степанида. — Знаю я, чем в управе кормят. Сухарь да чай, и тот вчерашний.

Она сняла платок, повесила на гвоздь — и по тому, как она это сделала, стало ясно, что гвоздь теперь её.

— Восемь рублей в месяц, — сказал Ремизов. — Больше не могу.

— Шесть, — отрезала кухарка. — Восемь мне совестно, я одному-то много не наготовлю. И дров вам подвезу, я мужика знаю.

— Степанида.

— Что?

— Я здесь ненадолго, — сказал он. — Ты понимаешь? Я тут не насовсем. Меня, если всё сложится, отправят обратно.

Она посмотрела на него с жалостью, с какой смотрят на человека, сказавшего очевидную и притом печальную глу-

пость.

— Так и топить дотуда надо, — сказала Степанида и пошла за дровами.

Вечером в квартире на Мытной впервые пахло едой.

Ремизов сидел у стола, за окном шёл снег — второй раз за неделю, — и он машинально согнул и разогнул мизинец правой руки. Тот, что двенадцать лет ныл за сутки до снега. Тот, на который в отделе ставили деньги.

Ничего.

Он посидел, глядя на руку, потом решил, что дело, конечно, в здешнем воздухе, и придвинул к себе дело о смерти смотрителя Податной палаты, чтобы перечитать перед сдачей в суд.

* * *

Вечером в управе топили жарко, Гринька спал за своим столом, положив голову на переписанный набело чертёж, а Кулага собирался домой и никак не мог собраться.

— Одного не пойму, Андрей Ильич, — сказал он, наматывая шарф. — Отчего вы за него вступились. Он же и вправду человека уморил.

— Он девять дней голодал в запертом доме.

— Так и я о том же. — Подьячий покачал головой. — Всякая тварь, когда голодная, опасна. И всякий человек. Из этого обыкновенно делают вывод, что тварь надо извести.

— А какой вывод сделали бы вы?

— Я бы, — сказал Кулага, подумав, — печь топил.

Он надел шапку и уже у двери остановился.

— Я вам вот что ещё хотел сказать. Вы третьего дня вернулись от гильдейской, сели и до утра сидели. Я не спрашивал.

— Спрашивайте.

— Она вам что-то сказала, чего вы не ждали.

Ремизов помолчал.

— Она сказала, что я у них первый за пятьдесят четыре года.

Кулага стоял у двери, держась за ручку.

— Первый, — повторил он.

— Первый за пятьдесят четыре года, Тихомир Спиридонович. Не первый вообще.

Подьячий очень медленно снял шапку.

— Пятьдесят четыре года назад я под стол пешком ходил, — сказал он. — А вот батюшка мой в этой самой управе служил письмоводителем. При Заозёрском, при старом ещё.

Он посмотрел на свою шапку так, будто впервые её видел.

— Я у него спрошу, Андрей Ильич. Он ещё жив.

Ремизов не сразу нашёл, что сказать.

— Тихомир Спиридонович. Вы тридцать лет не спешили.

— Тридцать один, — сказал Кулага, надевая шапку. — Оно, знаете, входит в привычку. А потом однажды приходит человек и лезет на крышу при всём взвозе, потому что больше некому.

Он открыл дверь. С лестницы потянуло холодом, и Гринь-

ка во сне подтянул к себе чертёж.

— Только вы уж не радуйтесь заранее, — сказал подьячий с порога. — Батюшке моему восемьдесят девять, и он последние годы больше молчит, чем говорит. А про управу при Заозёрском вовсе никогда не рассказывал.

— Ни разу?

— Ни разу, — сказал Кулага. — Я и не спрашивал. Мало ли о чём человек не рассказывает.

Дверь за ним закрылась.

Ремизов постоял, глядя на неё, потом подошёл к печи, открыл дверцу и подбросил два полена — не потому, что было холодно, а потому, что стало привычкой.

КНИГА ВТОРАЯ. ЛЁД СТАЛ РАНО. Глава шестая

Следы вели к нему. Обратных не было.

Река стала в ночь на второе груденя, разом, за одну ночь, и весь Стрежень с утра ходил смотреть.

Ремизов приехал на Нижнюю пристань в девятом часу. Лёд был молодой, зеленоватый, чистый — по нему шла позёмка, и на этой чистоте, шагах в двухстах от берега, тёмным пятном лежал человек.

К пятну вела цепочка следов.

Одна.

— Не пускал никого, ваше высокородие, — доложил квартальный нижней стороны Сазонов, длинный, тощий и в шинели не по росту. — Как вы велели после того случая на взвозе, так и не пускал. Мальчишки, правда, до вас добежали, но я их обратно погнал, и они по своим следам шли, я проверял.

Ремизов посмотрел на него.

— Проверяли?

— Ну а как же. — Сазонов немного смутился. — У нас же весь город рассказывает, что вы на крышу лазили. Ну я и подумал: раз начальник сыска на крышу лазит, так уж мне-то не переломиться, следы посмотреть.

— Кондратий Фомич бы вас не одобрил.

— Кондратий Фомич, — сказал квартальный с достоинством, — служит на взвозе, где богатые. У них там обвод. А у нас тут пристань и артель, у нас, ваше высокородие, признаний не добьёшься: у нас все и так во всём виноватые, и всем всё равно.

Он оказался толковым.

Они пошли по берегу, вдоль кромки, и Ремизов на ходу считал.

Следы выходили с пристани, от третьего причала, шли под небольшим углом к течению и упирались в тело. Дальше следов не было. Ни назад, ни в стороны — вообще ничего, только гладкая, отшлифованная позёмкой корка.

— Снег когда перестал? — спросил Ремизов.

— В третьем часу ночи, — сказал Сазонов. — Точно скажу: я в третьем часу обход кончал и как раз обрадовался, что перестал.

— А лёд когда встал?

— К полуночи уже держал. Мальчишки в полночь на нём плясали, я их гонял.

— И после трёх часов ни снега, ни ветра?

— Позёмка была. Так позёмка — она поверху метёт, она след не забивает, только гладит.

* * *

На лёд Ремизов вышел один и шёл рядом с цепочкой следов, шагах в двух от неё, ставя ноги на чистое.

Он остановился на полпути и присел.

След был хороший, чёткий: подошва с двумя рядами гвоздей, каблук стоптан снаружи. Сапог большой, рабочий, крючницкий. Он приложил ладонь — след был длиннее ладони с запасом.

Потом посмотрел вперёд и назад и померил глазом расстояние между следами.

И вот тут в первый раз что-то не сошлось, хотя он ещё не мог сказать что.

Тело лежало ничком, головой к тому берегу, руки под собой. Одет был как все на пристани: тулуп, шапка, кушак, сапоги — те самые, с двумя рядами гвоздей.

Ремизов обошёл его кругом, не приближаясь.

Снег вокруг был чистый.

Он стоял и смотрел на этот чистый снег дольше, чем следовало, потому что мысль, которая ему требовалась, никак не выговаривалась. Человек, идущий по льду и падающий, взмахивает руками. Он задевает снег локтем, коленом, шапкой. Он оставляет вокруг себя мелкий беспорядок — тот беспорядок, который потом видно даже под позёмкой.

Вокруг этого человека беспорядка не было.

Он лежал так ровно, будто его положили.

— Гринька!

— Тут я! — отозвались с берега.

— Иди сюда. По моим следам, не по тем. Черти.

* * *

Промеры они делали до полудня, и к концу на льду со-

бралось столько зрителей, что Сазонову пришлось выставить цепь.

— Шаг, — диктовал Ремизов. — От пятки до пятки. Пиши каждый отдельно, не средний.

— Двадцать три вершка, — говорил Гринька, ползая с бечёвкой. — Двадцать два с половиной. Двадцать три. Двадцать два.

— Длина следа?

— Двенадцать вершков без четверти.

— Глубина?

Писец засопел.

— А как её мерить-то?

— Спичкой, — сказал Ремизов. — Втыкаешь до дна, отмечаешь ногтем, прикладываешь к бечёвке. И так каждый пятый след.

Он сходил на берег, взял у Сазонова ведро, развёл в нём алебастр, который со вчерашнего дня возил в управской пролётке и над которым Кулага смеялся третий день подряд, и залил два следа — один у берега, один в десяти шагах от тела.

Артель смотрела на это молча и очень внимательно.

— Ваше высокородие, — не выдержал наконец кто-то из крючников. — А это к чему?

— Чтобы след остался, когда льда не будет.

— Так лёд до весны простоит.

— Лёд простоит, — согласился Ремизов. — А следа к вечеру не будет. Позёмка сгладит.

Крючник подумал.

— И что вы с ним делать станете, со следом-то?

— Приложу к сапогу.

— К чьему?

— К тому, который найду.

По льду прошёл шорох — сорок человек одновременно переступили с ноги на ногу и посмотрели вниз, на собственные сапоги.

Ремизов это заметил и запомнил.

* * *

Артель собралась на пристани вся, человек сорок, и стояла молча — крючники, весовщики, двое конторских в пальто.

— Кузьма, — сказал староста. — Кузьма Тихий это.

Старосту звали Егор Лапоть, он был огромный, с рыжей бородой, и говорил медленно, будто каждое слово поднимал с земли.

— Фамилия?

— Так Тихий и фамилия. Им когда записывают, они фамилию по нраву берут. — Лапоть помолчал. — Он же омутник, ваше высокородие.

Ремизов не сразу понял.

— Кто?

— Омутник, — повторил староста. — Речная чудь, второй разряд. У нас их на пристани трое было. Теперь двое.

Гринька рядом ахнул.

— Он что же... — Ремизов оглянулся на лёд. — Он не человек?

— Да какой человек, — сказал Лапоть с неожиданной мягкостью. — Кузьма при пристани двадцать два года. Он мешки таскал наравне со всеми, а зимой рыбу артели ловил. И детишек он у нас трёх вытащил за эти годы, а взрослых я и не считал. У них это, ваше высокородие, само собой выходит: как кто в воду — он уже там.

— Двадцать два года, — сказал Ремизов.

— Двадцать два. — Староста повернулся к своим и сказал громко: — Шапки сняли.

Сорок человек сняли шапки.

* * *

Контора пристани стояла на сваях, топилась жарко, и в ней пахло дёгтем, чернилами и мокрым сукном.

— Балахнин, Аверьян Кузьмич, — представился человек у стола, поднимаясь и подавая руку. — Подрядчик по казённой поставке. Ужасное дело, ужасное. Я велел артели выдать на похороны из своих.

Ему было лет сорок пять, он был опрятен, сухощав, и на нём одном во всей конторе было чистое.

— Много ли выдали?

— Двадцать рублей.

— Щедро, — сказал Ремизов. — Убыток артели по закону считают в восемьдесят.

Балахнин чуть улыбнулся.

— Я не по закону считал, ваше высокородие. Я по совести. Кузьма при мне четыре года ходил.

— Что он делал?

— То же, что все. Крючил, таскал. — Подрядчик пожал плечами. — Ну и по воде, конечно. Уронят чего с причала — он достаёт. У нас за навигацию сколько всего в реку падает, вы не поверите: и мешки, и полосы, и якорные скобы. Раньше нанимали ныряльщиков из Заречья, по рублю за спуск. А тут свой.

— Часто доставал?

— Постоянно.

— В последний месяц?

Балахнин задумался — коротко, ровно на одно мгновение дольше, чем нужно.

— Не припомню, — сказал он. — Навигация кончилась, что там доставать.

Егор Лапоть, стоявший у двери, шевельнулся.

— Так он же в позапрошлую субботу полосы поднял, — сказал староста.

В конторе стало тихо.

— Какие полосы? — спросил Ремизов.

— Железные, казённые, на верфь которые. Мешок целый. — Лапоть поскрёб бороду. — Кузьма их со дна вынул, на причал сложил и говорит: у вас, говорит, потерялось. Мы ещё смеялись, что за потеря такая — мешок железа, кто ж его в воду ронял.

— И что с ними стало?

— А их Аверьян Кузьмич обратно в казну и записали, — сказал староста. — Как найденное.

Балахнин смотрел на старосту с выражением человека, слушающего очень длинный и очень скучный рассказ.

— Записал, — подтвердил он. — А как же.

* * *

— Дела нет, — сказал Кулага.

Он сидел в управе у печи, и, в отличие от обычного, глаз не закрывал.

— Как — нет?

— А так. — Подьячий развёл руками. — Убит нелюдь второго разряда. Тихомир Спиридонович Кулага, тридцать один год службы, докладывает вам, Андрей Ильич: статьи такой нет. За человека — душегубство, каторга. За скотину — потрава, штраф по цене. А за чудь ничего.

— Совсем ничего?

— Есть «убыток артели», — сказал Кулага. — Если чудь при хозяйстве состояла и приносила доход. Тогда виновный платит хозяйству. По омутнику, я думаю, рублей восемьдесят выйдет. Хорошая корова стоит сорок.

Гринька, писавший в углу, перестал писать.

— Тихомир Спиридонович, — сказал Ремизов. — Двадцать два года и трое детей.

— Я знаю, — сказал подьячий. — Я вам не своё говорю. Я вам говорю, что в законе.

* * *

Наместник был краток.

— Восемьдесят рублей, — сказал он, дочитав рапорт. — Андрей Ильич, вы понимаете, что мне неудобно вас об этом просить, и всё-таки я прошу. Закройте.

— На каком основании?

— На том, что дела нет, а есть убыток артели. Пусть артель подаёт иск в управу благочиния, там всё и сочтут. — Тучков-Заречный положил рапорт. — У меня ревизия соляного ряда, у меня Зыков под судом, у меня в столице читают мои донесения и впервые за четыре года читают их с интересом. И тут вы приносите мне мёртвого омутника.

— В него ударили. Штоф написал заключение.

— Ударили. — Наместник поморщился. — Ваше высокородие, на пристани каждый день кого-нибудь бьют. Пристань, артель, крючники. Подрались, толкнули, он ушёл на лёд, там ему стало худо, и он лёг.

— Он не мог уйти на лёд.

— Отчего же?

Ремизов помолчал.

— Пока не знаю, — сказал он. — Знаю, что не мог.

Тучков-Заречный посмотрел на него долгим взглядом.

— Вот за это, — сказал он, — вас в городе и не любят. Вы приходите и говорите: пока не знаю, но не мог. А человеку нужно, чтобы ему сказали: мог. И тогда он идёт спать.

* * *

— Омутник, — сказал Кулага, пока они шли от наместника. — Раз уж вы всё равно спросите, я лучше сам расскажу, чем вы опять из росписи вычитаете и меня стыдить будете.

— Рассказывайте.

— Речная чудь. Живут при омутах и под мостами, дышат и водой и воздухом, кормятся рыбой. Безвредные совершенно, оттого второй разряд, а не третий: второй — это который при людях работает и жалованье получает. — Подьячий загибал пальцы. — Силы в воде большой, на берегу как все, на морозе вялые. Живут долго. Утопающего вытаскивают всегда, даже если тот им не нравится, — не могут иначе, у них это как у кошки на мышь.

— Оттого их пристани и держат.

— Оттого и держат, — кивнул Кулага. — И ещё оттого, что днище смотрят и цепь проверяют. Хорошая пристань без омутника — как хороший дом без дымника.

Ремизов усмехнулся.

— У вас всё как дом без дымника.

— А что вы хотите, я старый. — Кулага поправил шарф. — Одного не пойму, Андрей Ильич. Вы за дымника вступились, я понял: он голодный был и не виноватый. А тут за кого вступаться? Тут его самого убили.

— Вот за него и вступаться.

— Так ведь нету статьи.

— Тихомир Спиридонович, — сказал Ремизов. — Три недели назад вы мне объяснили, что в этом городе не счита-

ют жильцом того, кто в доме живёт. Теперь вы объясняете, что не считают убитым того, кого убили. Вы не находите, что у вас тут слишком многих не считают?

Подьячий шёл молча полквартала.

— Нахожу, — сказал он наконец. — С позавчерашнего дня нахожу.

* * *

Штоф встретил его словами:

— Не от холода.

— От чего?

— От удара. — Лекарь вытер руки. — Один, в затылок, тяжёлым и плоским. Ни ножа, ни кулака: кулаком так не выйдет. Я бы сказал — доска или полоса. Умер быстро.

— Когда?

— Между полуночью и тремя. — Штоф помолчал. — И вот что, Андрей Ильич. Я его смотрел два часа. Он мне интересен.

— Чем?

— Тем, что у него под кожей на боках складки, которых у нас нет, и они после смерти сомкнулись. Он дышал водой. — Лекарь сел, вытянув длинные ноги. — Я двадцать шесть лет в этом городе и ни разу не смотрел омутника. Их не приносят. Они, когда умирают, уходят в воду, и всё. Этого принесли, потому что он лежал на льду. Я хочу написать об этом в Гильдию.

— Напишите.

— Не примут, — сказал Штоф. — Я уже пробовал. Двенадцать лет назад.

* * *

Вечером он вернулся на пристань.

Фонарей тут не было — гильдейские на Заводскую сторону не ставили, стояли масляные, и половина не горела. Лёд в темноте лежал серый и ровный, и следы на нём были уже плохо видны, а к утру их не станет вовсе.

Ремизов стоял у третьего причала и смотрел на реку.

— Ваше высокородие, — сказал сзади голос.

Он обернулся. У свай стоял человек — невысокий, коренастый, без шапки, в одном кафтане на морозе.

— Ты кто?

— Митяй, — сказал человек. — Тоже омутник. Мы с Кузьмой с одной воды.

Он подошёл ближе. В темноте лицо его казалось обыкновенным, только глаза сидели чуть шире, чем у людей, и не мигали.

— Вы на лёд смотрите, — сказал Митяй.

— Смотрю.

— Вы неправильно смотрите.

Ремизов повернулся к нему.

— Объясни.

— Кузьма по льду не пошёл бы, — сказал омутник. — Никогда. Ни за какие деньги.

— Почему?

Митяй посмотрел на реку, и в этом взгляде было что-то очень простое, чего Ремизов не умел прочесть.

— Потому что лёд — это потолок, — сказал он. — Мы под ним ходим. Мы по нему не ходим, ваше высокородие. Это как если бы вы по потолку пошли.

Ремизов очень медленно повернулся к реке.

— Митяй. Ты можешь сейчас туда сходить?

— Подо льдом-то? Могу.

— А почему не сходил?

Омутник опустил голову.

— Ходил, — сказал он. — В первую же ночь. Я под ним стоял, под тем местом. Я его снизу видел — он на льду лежал, а я под ним, вот так вот. — Митяй показал ладонью. — И достать не мог, потому что лёд.

Он помолчал.

— Вы приложите к моей ноге, — сказал он вдруг.

— Что?

— Слепок ваш. Который вы алебастром лили. — Митяй поднял ногу, показывая подошву; сапог был большой, крючницкий, с двумя рядами гвоздей, как у всех на пристани. — Вы приложите. И к Кузьминой приложите. У нас всех сапоги от артели, одинаковые, сорок пар. Я вам это к тому говорю, чтоб вы зря время не тратили.

Ремизов посмотрел на него.

— Ты понимаешь, что говоришь?

— Понимаю, — сказал омутник. — Я говорю, что вы по

сапогу никого не найдёте. И ещё я говорю, что вы всё равно ищите.

Он повернулся и пошёл к сваям, вниз, к чёрной воде у самой кромки, и уже оттуда, снизу, добавил:

— Кузьма меня из-подо льда вытащил. Двенадцать лет назад. Мне тогда лет было — как вашему писарю.

Глава седьмая

— Двадцать два с половиной, — читал Гринька. — Двадцать три. Двадцать три. Двадцать два. Двадцать три с четвертью...

— Довольно. Средний?

— Двадцать два и три четверти вершка.

Ремизов встал и прошёл по управе, считая свои шаги от печи до окна.

— Тихомир Спиридонович, пройдитесь.

— Куда?

— От печи до окна. Обыкновенным шагом.

Кулага, вздыхая, встал и прошёл. Гринька с бечёвкой ползал за ним, как собачонка.

— Двадцать шесть, — объявил писец. — И ещё двадцать семь.

— У меня двадцать восемь, — сказал Ремизов. — У вас, Тихомир Спиридонович, двадцать шесть, а вам шестьдесят два года и вы никуда не торопитесь. А у человека на льду — двадцать два с половиной. При ноге в двенадцать вершков.

Подьячий сел обратно.

— И что это значит?

— Это значит, что либо у него ноги короче моих на четверть, — сказал Ремизов, — либо он шёл не так, как ходят. Осторожно. Мелко. И с грузом.

— С каким грузом?

— С тем, который лежит на льду.

Гринька выронил бечёвку.

* * *

Сапоги Кузьмы лежали в мертвецкой, на нижней полке, в холщовом мешке с описью.

Ремизов вынес их к свету и поставил на подоконник, рядом с двумя алебастровыми слепками.

Слепок лёг в подошву как влитой: два ряда гвоздей, каблук стоптан снаружи, трещина через рант — и на слепке трещина, и на сапоге.

— Ну вот, — сказал Штоф, наблюдавший из угла. — Значит, он всё-таки сам шёл.

— Значит, шли в его сапогах, — сказал Ремизов.

Он перевернул сапог голенищем вниз и постучал по подошве.

На подоконник посыпалось.

Немного: снежная крупка, ссохшаяся в комок, несколько соломин — и сор. Ремизов подгрёб его ладонью к краю и наклонился.

Сор был тёмный, мелкий, тяжёлый и блестел на изломе.

— Штоф, что это?

Лекарь подошёл, растёр щепоть между пальцами и понюхал.

— Окалина, — сказал он. — Кузнечная. Ею у нас полгорода посыпано, где кузни.

— На пристани есть кузня?

— На пристани нет. На верфи есть.

Ремизов взял второй сапог и вытряхнул его тоже. То же самое: снег, солома, окалина.

— Штоф, — сказал он. — Вы его раздевали?

— Я.

— Как на нём сидели сапоги?

Лекарь задумался.

— Плохо, — сказал он наконец. — Я ещё подумал: у крючника портянка должна быть намотана как часы, а у него сбилась в комок и на левой ноге вовсе под пяткой. Я решил — волочили.

— Его не волокли. На тулупе нет затёков.

— Тогда не знаю.

— Знаете, — сказал Ремизов. — Так сидят сапоги, которые надевали на человека, а не которые человек надевал сам.

* * *

Кузьму хоронили в тот же день, и Ремизов поехал, потому что не поехать было нельзя, а как это делается, не знал.

Оказалось, что никак.

Артель собралась на льду у третьего причала, человек шестьдесят. Пешнями вырубили прорубь — квадратную, в аршин, — и стояли вокруг молча. Гроба не было. Кузьму принесли на носилках, завёрнутого в парусину, и Егор Лапоть сказал только:

— Двадцать два года.

Потом омутника опустили в воду.

Он ушёл сразу, без всплеска, и прорубь тут же затянуло чёрной рябью, и всё было кончено так быстро, что Ремизов не успел понять, что уже всё.

Люди начали расходиться.

— И это всё? — спросил он у Лаптя.

— А чего ещё? — сказал староста. — Они из воды и в воду. У них ни попов, ни поминок, ни памяти на камне. — Он натянул шапку. — Мы уж от себя третий год подряд просим управу благочиния, чтоб на пристани доску повесили с именами, кто утоп и кто вытащил. Не дают. Говорят, доска для людей.

— А в артельной книге они есть?

— В артельной есть. — Лапоть подумал. — Знаете, ваше высокородие, они ведь платят подушное. Как все. С них берут, а в доску не вписывают.

Ремизов постоял на льду, когда все ушли.

Митяй остался тоже — стоял в двадцати шагах, у самой проруби, и смотрел вниз.

— Митяй.

— Я слышу.

— Он в последний месяц железо со дна поднимал?

Омутник не поднял головы.

— Четыре раза, — сказал он.

* * *

Всё утро он проверял другую версию, потому что она была

проще и потому что не проверить её было нельзя.

Версия была наместника: подрались, толкнули, ушёл, лёг. На пристани дрались часто, дрались вчера, дрались позавчера, и в ночь на второе груденя, как выяснилось, тоже дрались — двое весовщиков не поделили сменную книгу.

Ремизов допросил обоих порознь, потом старосту, потом сторожа, потом бабу, торговавшую у ворот горячим сбитнем и видевшую всё.

Драка кончилась в одиннадцатом часу. Кузьма в ней не участвовал, стоял у весовой и смеялся. После драки его видели дважды: в половине двенадцатого — у третьего причала, и около полуночи — там же.

— Один стоял? — спросил Ремизов.

— Один, — сказала сбитенщица. — Он всегда один по ночам стоит, на воду глядит. Они все так.

— А больше на причале никого?

— Так там же ещё Аверьян Кузьмич были.

Ремизов поставил кружку.

— Балахнин?

— Ну а кто ж. — Баба пожала плечами. — Они как навигацию закрыли, так через ночь приезжают, всё чего-то считают. Хозяйственный человек.

— В ту ночь тоже?

— В ту тоже. Я в двенадцать домой пошла, а их пролётка ещё стояла.

* * *

— Это ничего не значит, — сказал Кулага, выслушав. — Подрядчик на своей пристани ночью — это как поп в церкви.

Он поймал взгляд Ремизова и поправился:

— Как дымник в трубе.

— Тихомир Спиридонович, у Балахнина сапоги какие?

— Городские. Он в галошах ходит.

— А нога?

Подьячий посмотрел на него.

— Меньше вашей, — сказал он неохотно. — Много меньше. Он мелкий человек, Андрей Ильич. Он до вашего плеча.

— Двадцать два с половиной вершка, — сказал Ремизов.

* * *

Милава Ратмировна нашла его в мертвецкой, среди сапог и слепков, и это, судя по лицу, ей не понравилось.

— Вы затребовали в Гильдии роспись по речной чуди за двадцать лет, — сказала она. — Вам её не дадут.

— Отчего?

— Оттого, что роспись по второму разряду ведёт не Гильдия, а управа благочиния, и они не отдадут её вам, потому что не любят вашего наместника. — Она сняла перчатки. — Я вам её принесла.

Она положила на подоконник тонкую тетрадь.

— Спасибо.

— Не благодарите. — Милава Ратмировна открыла тетрадь. — Здесь то, что я хотела, чтобы вы прочли. Стрежень, за двадцать лет. Речной чуди при пристанях: было сорок од-

на голова, стало девятнадцать. Из них своей смертью — семеро.

Ремизов поднял глаза.

— А остальные пятнадцать?

— «Убыль», — сказала она. — Так пишут. Убыль по хозяйству, как по лошадям. Ни одного дознания, ни одного дела, ни одной статьи. Пятнадцать за двадцать лет, Андрей Ильич, и никто ни разу не спросил.

Она закрыла тетрадь.

— Я не за вас и не против вас. Я просто хочу, чтобы вы понимали, во что лезете. Это не одно дело. Это то, чего в этом городе не делали никогда, и когда вы это сделаете, вам будут благодарны ровно четверо: староста Лапоть, ваш квартальный, ваш писарь и я. А неудобно станет всем остальным.

— Вы сказали — и вы.

— Я сказала — и я, — согласилась Милава Ратмировна. — Это не значит, что я вам помогу. Это значит, что я принесла тетрадь.

* * *

Верфь стояла в двух верстах ниже по реке, за поворотом, и была огорожена так, как в Стрежне не огораживали ничего: тыном в человеческий рост, с двумя воротами и караулом.

— Казённая, — объяснил Сазонов, трясясь рядом в пролётке. — С неё за всякую полосу отчёт. Тут строже, чем в казначействе.

— Кто поставляет железо?

— Подряд у Балахнина. Третий год.

— Считают как?

— По весу. Приходит баржа, взвешивают, записывают. Потом кузня берёт, тоже по весу. Что осталось — тоже по весу. — Квартальный поёрзал. — Ваше высокородие, а мы туда на каком основании едем? Дело-то закрыто.

— Дело не закрыто, — сказал Ремизов. — Дело не открыто. Это разные вещи.

Сазонов подумал.

— Мне за это влетит?

— Вероятно.

— Ну и ладно, — сказал квартальный и повеселел.

Приказчик кузни, глухой от собственного ремесла, орал в ответ на всякий вопрос и охотно показал книги. Книги были в порядке. Приход по весу сходился с расходом по весу, недостачи не было ни в одном месяце.

Ремизов листал их полчаса и не находил ничего.

— А то, что со дна подняли? — спросил он. — В позапрошлую субботу. Мешок полос.

— Записали! — проорал приказчик. — Как найденное! Вот, извольте: двадцать восьмого числа, полосы железные, четыре пуда двенадцать фунтов, найдены при пристани, оприходованы!

— И откуда же они там взялись?

— С баржи упали!

— С какой?

Приказчик открыл рот и закрыл его.

— А вот с какой, — сказал он уже потише, — того нету. Тут не записано, ваше высокородие. Тут написано просто: найдены.

— А кто вносил запись?

Приказчик поглядел в книгу, потом на дверь, потом опять в книгу.

— Подрядчик, — сказал он. — Аверьян Кузьмич своей рукой. Они у нас всегда сами вносят, когда что найденное. Оно и правильно: их товар, им и отвечать.

— И часто находят?

— Да ведь как сказать. — Приказчик пожевал губами. — За осень четыре раза находили. Четыре раза оприходовали.

Ремизов очень медленно поднял голову.

— Четыре?

— Четыре, — подтвердил приказчик и снова заорал, войдя в привычную колею: — Вот они все, извольте! Двадцать восьмого, потом девятого, потом двадцать первого, потом опять двадцать восьмого!

Ремизов подвинул книгу к себе.

Четыре записи. Все четыре — рукой Балахнина. И все четыре — на один и тот же вес: четыре пуда двенадцать фунтов.

Один и тот же мешок. Четыре раза.

* * *

Гринька к вечеру перемерил шаг у всех, кто зашёл в управу.

Он мерил бечёвкой, записывал в особую книжечку, которую завёл сам, и на всякого входящего смотрел теперь снизу, с уровня сапог.

— Двадцать девять с половиной! — объявил он, когда вошёл городовой Гаврюшин. — Ваше высокородие, у него двадцать девять с половиной! Он длинный.

— Записывай.

— А зачем нам городовые? Их же на льду не было.

— Затем, что тебе нужно знать, каким бывает обыкновенный шаг, — сказал Ремизов. — Пока ты не намерил сотню обыкновенных, ты не узнаешь необыкновенный.

Писец задумался над этим и, кажется, впервые понял что-то целиком, а не по частям.

К шести пришёл Фомич.

Он потоптался в дверях, поздоровался со всеми по очереди и стал смотреть в окно, всем видом показывая, что зашёл случайно.

— Кондратий Фомич.

— Я, ваше высокородие, мимо шёл.

— Разумеется.

Квартальный ещё потоптался.

— Я посчитал, — сказал он наконец. — Как вы велели. За четыре года. Сорок одно дело в прошлом годе, тридцать восемь в позапрошлом, и так далее. Всего сто пятьдесят два.

— И?

— И одиннадцать, — сказал Фомич. — Одиннадцать раз

выходило так, что после признания того же самого кто-то опять делал. Один раз даже дважды.

Он сказал это и стоял, глядя в окно.

— Я, между прочим, тридцать лет служу, — сказал он. — И никогда не считал. Оно ведь по одному-то делу незаметно.

— Незаметно, — согласился Ремизов.

— Вы мне книжку эту вашу дадите? — вдруг спросил квартальный. — Ну, как писарь ваш меряет. Я себе тоже заведу. У нас на взвозе на прошлой неделе в подвал лазили, так там след был в снегу, а я его сапогом затоптал, покуда смотрел.

Гринька, не веря своим ушам, полез в стол за чистой книжечкой.

* * *

Кулага ждал его в управе и был не такой, как всегда.

Он сидел прямо, не у печи, а за своим столом, и перед ним лежал чистый лист, на котором ничего не было написано.

— Съездил, — сказал он.

— К отцу?

— К батюшке. — Подьячий помолчал. — Восемьдесят девять ему, Андрей Ильич. Он меня узнал не сразу, а как узнал, обрадовался.

— И?

— И я спросил. Про управу при Заозёрском, про пятьдесят четыре года назад. — Кулага провёл ладонью по чистому листу. — Он замолчал. Я такого не видел. Он сидел и мол-

чал, и я минут десять сидел рядом и тоже молчал. А потом он говорит: «Тиша, ты по службе спрашиваешь или для себя?»

— Что вы ответили?

— По службе. — Подьячий поднял глаза. — Соврал. Мне для себя надо было.

— И он?

— А он сказал: «Тогда пусть твой начальник сам приезжает». — Кулага усмехнулся невесело. — Он про вас знает, Андрей Ильич. Весь Стрежень знает, и он знает. И ещё он сказал одну вещь, которую я вам передам слово в слово, потому что своими словами не решусь. Он сказал: «Тот тоже думал, что ненадолго».

В управе тикали часы.

— Тот, — сказал Ремизов.

— Тот, — подтвердил Кулага. — Он это слово выговорил как чужое. Как будто ему пятьдесят четыре года запрещали.

* * *

Ночью он не спал.

Степанида, взявшая привычку оставлять на столе чайник под полотенцем, ушла в девять; в квартире было тепло — впервые за всё время по-настоящему тепло, — и от этого не спалось ещё больше.

Ремизов сидел у стола и раскладывал перед собой то, что имел.

Омутник, который не пошёл бы по льду. Следы, ведущие в одну сторону и обрывающиеся у тела. Шаг в двадцать два с

половиной вершка. Сапоги, надетые чужой рукой. Окалина из кузни в сапогах человека, никогда не работавшего в кузне. Мешок железа, поднятый со дна и оприходованный как найденный неизвестно с какой баржи. Подрядчик, который через ночь приезжает считать на пристань, где нечего считать.

И «тот тоже думал, что ненадолго».

Он поймал себя на том, что вторую фразу думает чаще, чем первые семь, и отложил её нарочно, как откладывают письмо, которое нельзя читать посреди работы.

Потом взял чистый лист и написал сверху: «Что нужно проверить».

И первым пунктом: «Сколько раз Кузьма поднимал со дна железо».

Ответ он уже знал: четыре. И записей на верфи было четыре. И вес во всех четырёх был один и тот же — четыре пуда двенадцать фунтов.

Железо не падает в реку четыре раза подряд одинаковыми мешками.

Значит, один и тот же мешок четыре раза оказывался в воде. Значит, его четыре раза туда клали.

И четыре раза со дна его доставал работник, который делал свою работу и приносил хозяину со словами «у вас потерялось».

Ремизов отодвинул лист и долго сидел, глядя в тёмное окно, за которым шла позёмка и заметала всё, что было можно заметать.

Он думал о том, что человек, поднимающий со дна чужое железо и приносящий его на причал со словами «у вас потерялось», — это не свидетель.

Это гораздо хуже.

Это работник, который делает свою работу и не понимает, что мешает.

Глава восьмая

Балахнин принял его стоя и разговаривал стоя, и это была единственная перемена со вчерашнего дня.

— Четыре записи, — сказал Ремизов. — Все вашей рукой. Все на четыре пуда двенадцать фунтов.

— Верно.

— Один и тот же вес четыре раза.

— Ваше высокородие. — Подрядчик улыбнулся почти сочувственно. — Полосы вяжут в мешки по счёту, а не на глазок. Двенадцать полос — четыре пуда двенадцать фунтов. Всегда. У меня их за навигацию тысячи прошли, и все по четыре двенадцать. Оттого и вес одинаковый, что мешок стандартный.

Ремизов помолчал.

Это было правдой. Он проверил это через час у приказчика, и это была правда: двенадцать полос, четыре пуда двенадцать фунтов, мешок вязали так всегда.

— Хорошо, — сказал он тогда. — Тогда объясните другое. Отчего четыре стандартных мешка за осень оказались на дне реки?

— Оттого, что у меня на разгрузке пьяные крючники и гнилые сходни, — сказал Балахнин. — Я об этом писал в управу благочиния дважды. Могу показать копии.

Он показал. Копии были.

— Где вы были в ночь на второе груденя?

— На пристани до полуночи. После полуночи дома. Кучер Сёмка отвёз меня в двенадцать с четвертью, за ним записано в путевой книге, книгу могу предъявить. — Балахнин наклонил голову. — И, ваше высокородие, покуда вы не спросили: нога у меня девять с половиной вершков. Я знаю, потому что у меня в городе не найти обуви, и я шью на заказ у Штейгеля на Приказной. Он вам подтвердит, у него мерка лежит.

Ремизов посмотрел на него.

— Я не спрашивал про ногу.

— Не спрашивали, — согласился Балахнин. — Но весь город знает, что вы льёте алебастром следы. Мне же не хочется, чтобы вы тратили на меня время, когда его у вас и так немного.

* * *

Времени, как выяснилось, не было вовсе.

Наместник не кричал. Он сидел, положив перед собой две бумаги, и по тому, как ровно они лежали, было понятно, что он их выравнивал.

— Первая, — сказал Тучков-Заречный. — Отношение из управления казённой верфи. Начальник сыска без предписания вошёл на охраняемую казённую землю, требовал книги и допрашивал служащих. Вторая — жалоба подрядчика Балахнина на притеснение по подряду. Обе поданы вчера. Обе, разумеется, лягут в столицу, если я их туда пущу.

— Пустите?

— Не пущу. — Наместник поднял глаза. — А вы прекратите.

— Ваше сиятельство...

— Дело закрыто, Андрей Ильич. Оно закрыто сегодня в девять утра, вот моей рукой. — Он подвинул третью бумагу. — «Убыль по хозяйству, обстоятельства невыясненные, взыскание в пользу артели восемьдесят рублей с неустановленного лица». Восемьдесят рублей никто не заплатит, но бумага есть, и город спокоен.

Ремизов взял бумагу и прочёл её всю, до подписи.

— Я вас не понимаю, — сказал он. — Месяц назад вы отдали мне соляной ряд и радовались. Тут то же самое: казённое железо, подряд, кражи. Вам это выгодно.

— Мне это было бы выгодно, — поправил наместник, — если бы вы принесли мне кражу. А вы приносите мне убитого омутника, и всякий в столице спросит: отчего это ваш сыск за нелюдя взялся с таким жаром? — Он поморщился. — И знаете, что мне ответить? Мне нечего ответить. Потому что я и сам не понимаю, отчего.

— Оттого, что его убили.

— Их пятнадцать за двадцать лет, — сказал Тучков-Заречный. — Мне тоже принесли эту тетрадь. Вы думаете, я не умею читать?

Он встал и подошёл к окну.

— Я вам вот что скажу, и вы, пожалуйста, не отвечайте сразу. Если вы это дело поднимете и доведёте, вам придётся

поднять и остальные четырнадцать. Иначе будет хуже, чем не начинать. А четырнадцать дел за двадцать лет — это не сыск, это переворот. И делать его будете не вы. Делать его буду я, потому что подпись под ним моя.

Он обернулся.

— Я не готов, Андрей Ильич. Может быть, через год. Может быть, никогда. Закройте.

* * *

Приказчик кузни при виде его перестал орать.

Он говорил тихо, глядя в сторону, и это было хуже всякого крика.

— Не было такого, ваше высокородие.

— Я вчера держал книгу в руках.

— Держали. — Приказчик сглотнул. — А там четыре записи разного весу. Четыре двенадцать, три тридцать, пять с осьмушкой и опять четыре двенадцать. Извольте сами посмотреть.

Ремизов посмотрел.

Записи были разного веса. Чернила были одинаковые.

— Кто исправлял?

— Никто не исправлял. — Приказчик смотрел в пол. — Так и было.

— Вчера было иначе.

— Вчера я, ваше высокородие, был выпимши, — сказал приказчик. — С утра. Я у нас, знаете, всегда выпимши, меня оттого и глухота.

Он стоял, старый, чёрный от копоти, и врал так плохо, что от этого делалось совестно.

— У вас дети? — спросил Ремизов.

— Пятеро, — сказал приказчик. — И зять безрукий.

Ремизов кивнул и вышел.

* * *

— Штейгель подтвердил, — доложил Гринька уныло. — Девять с половиной вершков. Мерка у него в книге с позапрошлого года, я сам смотрел и списал.

— А кучер?

— Сёмка. Отвёз в двенадцать с четвертью, довёз до дому, дождался, покуда барин войдёт, и уехал. — Писец заглянул в книжечку. — Я его порознь спрашивал, как вы учили. Три раза заходил, с перерывами. Одно и то же говорит, слово в слово.

— Слово в слово, — повторил Ремизов.

— Ну да. — Гринька поднял голову. — А это разве плохо?

— Это очень плохо. Человек, который помнит правду, на третий раз рассказывает её иначе: то одно вспомнит, то другое забудет. Слово в слово говорит только тот, кто выучил.

Кулага, слушавший от печи, крякнул.

— Выучить и правду можно, — сказал он. — Если тебя третий раз за два дня спрашивает начальник сыска, ты и правду выучишь, чтоб не сбиться.

— Верно, — согласился Ремизов.

— Верно, — сказал подьячий, — и это ничего не даёт. Ни

в суде, ни где. Андрей Ильич, я вам как старик скажу: у вас на руках хорошая мысль и ни одной бумаги. А в суд ходят с бумагами.

* * *

Митяй пропал в тот же день.

Артель говорила об этом неохотно. Егор Лапоть отвечал в сторону, и в его медленных словах впервые появилось что-то, чего раньше не было, — не страх, а тяжёлое, глухое нежелание.

— Ушёл он, ваше высокородие.

— Куда?

— Вниз ушёл. По реке. У них так бывает: постоял-постоял и ушёл.

— Он вчера обещал прийти в управу.

— Ну вот и не пришёл, — сказал староста.

Ремизов посмотрел на него.

— Егор. Вчера вы сняли шапки, все сорок человек.

— Сняли.

— А сегодня?

Лапоть долго молчал.

— Сегодня у меня, ваше высокородие, в артели сорок два едока, — сказал он наконец. — И подряд у Балахнина. И если подряд уйдёт на другую пристань, они все сорок два пойдут зимой на паперть. — Он поднял глаза, и глаза были нехорошие. — Вы за Кузьму спрашиваете. Я вам за Кузьму отвечу. Он бы первый сказал: не лезь, Егор. Он же всех вы-

таскивал, и меня тоже. Он бы и вас вытащил.

* * *

Артельная книга оказалась последним, что у него оставалось, и он поехал за ней сам, не посылая никого.

Книгу вёл весовщик, аккуратный старичок в нарукавниках, который очень испугался и от испуга сделался чрезвычайно услужлив.

— Извольте, извольте. Вот приход, вот отпуск, вот подённые.

— Мне нужны подённые Кузьмы Тихого. За осень.

Старичок полистал и вдруг успокоился, потому что нашёл повод для гордости.

— А у меня всё записано, ваше высокородие. Я тридцать лет пишу и на нелюдей пишу как на людей, у меня в этом порядок. Извольте: вышел, отработал, спуск в воду — отдельной строкой, за спуск полтина сверх подённых.

Ремизов сел к столу.

Спусков за осень было девятнадцать. Против каждого стояла короткая помета: что доставали.

«Скоба якорная». «Багор». «Мешок с солью, подмок». «Полосы, 12».

Он нашёл четыре строки с полосами и переписал даты.

Двадцать восьмое серпеня. Девятое листопада. Двадцать первое листопада. Двадцать восьмое листопада.

— А ночные спуски бывают?

— Не бывают, — сказал весовщик. — Ночью не спуска-

ются, ночью не видать. У них глаз хороший, а всё ж не кошачий.

— Точно не бывают?

Старичок замялся.

— Раз было, — сказал он. — В ночь на двадцать девятое серпеня. Кузьма сам попросил записать, и я записал, хоть и не по форме. Он сказал: пиши, Лукич, чтоб потом не спорили.

Он повернул книгу.

Строчка была написана другой рукой — крупно, коряво, с наклоном не туда: «Спускался ночью, видел, кто кладёт. Кузьма».

— Это он сам писал?

— Сам, — сказал весовщик. — Печатными буквами, они иначе не умеют. Я ещё смеялся: чего ты, говорю, как в казённой бумаге.

Ремизов очень осторожно закрыл книгу и положил на неё ладонь.

— Лукич. Кто ещё это читал?

Старичок подумал.

— Аверьян Кузьмич читали, — сказал он. — На той неделе. Они подённые смотрели.

* * *

Ночью он пошёл на лёд.

Идти было незачем, и он это понимал. Мешки, если они и лежали на дне, лежали подо льдом, и без омутника достать

их не мог никто. Дело было закрыто. Книга исправлена. Свидетель ушёл вниз по реке.

Он пошёл потому, что не мог сидеть в тёплой квартире.

Лёд у берега держал крепко. Ремизов шёл вдоль причалов, считая сваи, и остановился у третьего — там, где начинались следы, которых уже не было.

Здесь, у самых свай, лёд был другой: тёмный, в разводах, и по краю шла ровная, будто ножом прорезанная кромка. Ремизов присел и посветил фонарём.

Полынья была затянута молодым льдом в палец толщиной. Вырубленная, квадратная, в аршин — точно такая, в какую опускали Кузьму.

Только эта была не там, где хоронили. Эта была у самой сваи, и вокруг неё лёд был исчерчен свежими бороздами, будто по нему волокли что-то тяжёлое.

Он наклонился ниже.

И в этот момент кто-то толкнул его в спину.

Толчок был не сильный — так толкают, чтобы человек оступился, а не полетел. Ремизов оступился. Молодой лёд под коленом хрустнул сухо, как сахар, и он ушёл в воду сразу весь, целиком, не успев ни крикнуть, ни ухватиться.

Вода была не холодная. Она была никакая — она просто отменила всё остальное.

Он помнил, что искал руками край и находил только гладкое. Помнил, что тулуп потянул вниз и что он никак не мог сообразить, как его снять, хотя знал, что надо. Помнил, что

над головой было светлее, чем вокруг, и что это светлое место с каждой секундой оказывалось дальше и левее.

Потом что-то взяло его под мышки.

Взяло крепко, деловито, как берут мешок, и повлекло не вверх, а вбок — долго, под самым льдом, — и он успел подумать, что это неправильно, что вверх надо, и тут его вытолкнуло на воздух, в чёрную воду у сваи, где не было льда, и он ударился лицом о мокрое дерево и вцепился в него обеими руками.

Рядом, по плечи в воде, стоял Митяй.

— Держитесь, — сказал омутник. — Не дёргайтесь. Я вас подсажу.

* * *

Степанида не сказала ни слова.

Она стащила с него всё, растёрла, уложила, натопила так, что в квартире стало нечем дышать, и всю ночь просидела на табурете у печи, подкладывая дрова.

Штоф приехал под утро, послушал, посмотрел горло и сказал:

— Три дня лежать.

— У меня нет трёх дней.

— У вас нет и одного, — согласился лекарь. — У вас есть вода в лёгких, и если вы завтра встанете, то через неделю мы с вами будем разговаривать о другом. Три дня.

Он собрал сумку.

— Кто вас толкнул?

— Не видел.

— А кто вытащил?

— Видел, — сказал Ремизов. — Митяй.

Штоф остановился у двери.

— Который ушёл вниз по реке?

— Который никуда не уходил, — сказал Ремизов. — Он третий день стоит подо льдом у третьего причала. Он не может уйти, Штоф. Он там сторожит. Он видел, куда клали мешки, и он один знает где.

Он закашлялся и долго не мог остановиться.

— И он вытащил меня, — сказал он, отдышавшись. — Хотя ему было выгоднее, чтобы я утонул. Потому что теперь я знаю, что он здесь.

* * *

Гринька прибежал в полдень, взъерошенный и без шапки, как в первый день.

— Ваше высокородие! Тихомира Спиридоновича нет!

— Как нет?

— Со вчерашнего вечера нет! В управе не был, дома не был, хозяйка говорит — с утра ушёл и не сказал куда. — Писец чуть не плакал. — Я и на пристань бегал, и в благочиние, и к лекарю. Нету!

Ремизов сел на койке.

В голове было пусто и звонко, а в груди при каждом вдохе что-то булькало.

Он подумал о шестидесяти двух годах Кулаги, о том, что

подьячий три дня подряд ходил с ним по пристани и его там видели все, и о том, что вчера ночью на льду стоял человек, который толкает в спину не сильно.

— Степанида! — крикнул он. — Сапоги.

— Не дам, — отозвались из кухни.

— Степанида.

— И не проси. — Кухарка появилась в дверях, вытирая руки, и встала так, что стало ясно: мимо неё не пройти. — Лекарь сказал три дня, стало быть, три дня.

— Пропал человек.

— Человек пропал вчера с утра, — сказала Степанида. — А ты вчера ночью тонул. Покуда ты до пристани доползёшь, тебя обратно понесут. Гринька!

— Я! — испуганно отозвался писец.

— Беги в управу, скажи — квартальный чтоб шёл. Тот, длинный, с нижней стороны. И городовых пущай берёт. — Она обернулась. — Вот тебе твои сапоги: пущай они ходят, у них ноги казённые.

Ремизов открыл рот и закрыл.

Она была права, и это было хуже всего.

Гринька убежал. Ремизов лёг обратно, и потолок над ним повело.

Он лежал и думал о том, что за три недели до этого сидел в такой же комнате в другом городе другого мира и точно так же не мог встать, и что тогда рядом никого не было, а теперь на кухне гремела посудой женщина, которая наняла его сама

и сама назначила себе жалованье.

И что за Кулагой сейчас пойдут четверо, потому что он, Ремизов, попросил.

Он не заметил, как заснул.

Разбудили его в четвёртом часу. В комнате было темно, у койки на табурете, где ночью сидела Степанида, сидел Тихомир Спиридонович Кулага — в шубе, в снегу, с обмороженным носом и с толстой пачкой бумаги на коленях.

— Не шумите, — сказал подьячий. — Она велела вас не будить, а я разбудил. Мне попадёт.

— Где вы были?

Кулага положил пачку на одеяло.

— На пристани, — сказал он. — Полтора суток. Сорок две пары сапог, Андрей Ильич. Все промерил, все обвёл на бумаге и все записал: чей, какой размер, каков шаг. Гринькиной методой. — Он помолчал. — Тридцать один год служу и первый раз в жизни сам, без приказа, полез мерить чужие сапоги. Оттого и не сказал никому. Стыдно было.

Ремизов приподнялся на локте.

— Тихомир Спиридонович.

— Погодите. — Кулага порылся в пачке и вытянул один лист. — Тут вот что интересно. У всех сорока двух шаг от двадцати шести до тридцати. Ни у кого не двадцать два с половиной. Ни у одного.

— Значит, на льду был не артельный.

— Значит, не артельный, — согласился подьячий. — А

теперь вторая бумага, и вот из-за неё я две ночи не спал.

Он вытащил второй лист.

— Я, покуда мерил, спросил у каждого: что ты делал в ночь на второе. Всех сорок двух. И тридцать девять сказали то, что и должны: спал, пил, дрался, был у бабы. А трое сказали одно и то же.

— Что?

— Что видели, как в первом часу с верфи шла порожняя подвода, — сказал Кулага. — Порожняя, Андрей Ильич. Ночью. С казённой верфи, где по ночам ворота на замке.

Он положил лист на одеяло.

— Порожняя туда, — сказал он. — А обратно её никто не видел.

Глава девятая

Возчика звали Прокоп, и нашли его за полдня — потому что порожних подвод с казённой верфи по ночам ходит немного, а тех, кто в ту же неделю расплатился в лавке за полгода вперёд, и вовсе одна.

Он сидел в управе, вертел шапку и говорил быстро, не дожидаясь вопросов.

— Возил, — сказал он. — Виноват, возил. Три раза за осень. Порожняком с верфи на пристань, а обратно гружёный.

— Чем гружёный?

— Так мешками. Аверьян Кузьмич говорили: с баржи не свезли, надо забрать.

— Ночью?

— Ночью. — Прокоп посмотрел на свою шапку. — Я и говорю: чудно. А он говорит: тебе, Прокоп, какое дело, тебе за ездку рубль.

— В ночь на второе груденя возил?

Возчик перестал вертеть шапку.

— В ночь на второе, — сказал он, — я стоял у ворот и не ездил никуда. Он мне велел ждать и не глядеть на реку.

— И ты не глядел?

— Не глядел, — сказал Прокоп. — Ваше высокородие, я четыре часа простоял мордой к тыну. Я и сейчас, как глаза

закрою, тот тын вижу.

Кулага у печи хмыкнул.

— А чего ж не поглядел-то?

— А того, — сказал возчик просто, — что мне сорок два года, у меня жена и мать, и я сразу понял, что за то, на что там глядеть, потом бывает.

* * *

Опыт ставили на другой день, на том же льду, при большом стечении народа.

Ремизову ходить ещё не разрешали, и он сидел на берегу, на перевёрнутой лодке, укутанный Степанидой в два тулупа, и оттуда командовал.

— Гринька, груз.

Писец с городовым уложили на дровни мешок с песком в пять пудов — Штоф сказал, что мёртвый омутник весит примерно столько.

— Сазонов, сапоги.

Квартальный, у которого нога была девять вершков, обулся в артельные крючницкие сапоги двенадцати вершков, набив их для верности паклей, и сделал два шага.

— Хлюпают, — доложил он.

— Больше пакли.

Набили больше. Сазонов впрягся в дровни и пошёл по чистому льду от берега, вбок от старой цепочки, чтобы не портить.

— Стой! — крикнул Ремизов через сотню шагов. —

Оставь груз. Иди назад.

— Как назад?

— Спиной вперёд. Ставь ногу в свой же след.

Сазонов пошёл. Шёл он медленно, шатаясь, дважды промахнулся и один раз сел.

— Не выходит, ваше высокородие!

— Дровни возьми. За верёвку держись.

Квартальный взял верёвку от пустых дровней, натянул — и пошёл ровно.

Он прошёл сто шагов задом наперёд и сошёл на берег, красный и злой.

— Дровни держат, — сказал он. — За верёвку держишься, она тянет, и ты ровно идёшь. Без них никак, а с ними хоть до Заречья.

Ремизов встал с лодки, и Гринька тут же поддержал его под локоть.

Они дошли до нового следа.

Он был глубокий, с чёткими краями, и шаг в нём был ровный и короткий — Гринька промерил и объявил:

— Двадцать два. Двадцать два с половиной. Двадцать два. Двадцать три.

По льду прошёл гул.

— А борозды? — спросил Ремизов. — От полозьев?

Их искали вчетвером и нашли не сразу: две тонкие царапины, уже наполовину заглаженные позёмкой, — а через час, когда пошли смотреть снова, не осталось и их.

— Полозья скользят, — сказал Сазонов. — Они снег не роют, они его гладят. А сапог — роет.

Кулага стоял, заложив руки за спину, и смотрел на след очень долго.

— Тридцать один год, — сказал он наконец. — Тридцать один год я думал, что след — это чтоб знать, куда человек пошёл.

— А он для чего?

— А он, — сказал подьячий, — чтоб знать, как человек шёл. Это, Андрей Ильич, две разные вещи, и я до вчерашнего дня не знал, что их две.

* * *

Митяя вызвали из-подо льда просто: Ремизов пришёл к третьему причалу и стоял там час.

Омутник вышел из чёрной воды у свай, как выходят из двери.

— Мне нужно, чтобы ты достал мешки, — сказал Ремизов. — При свидетелях. Днём. С описью.

— А если их там нет?

— Тогда я останусь ни с чем, и ты уйдёшь вниз по реке, и я не стану тебя искать.

Митяй помолчал.

— Они там, — сказал он. — Три. Он их не вынул, потому что вы третий день по льду ходите.

Опись составляли до сумерек.

Прорубь рубили артельные, а вокруг стояли: квартальный

Сазонов с двумя городовыми, весовщик Лукич с книгой, староста Егор Лапоть, писец Осташев с чертежом и лекарь Штоф, которого никто не звал и который сказал, что пришёл смотреть на омутника при работе, потому что второго случая не будет.

Митяй спускался трижды.

Он поднял три мешка, каждый — двенадцать полос, четыре пуда двенадцать фунтов, и на каждой полосе стояло казённое клеймо верфи, и все три раза Лукич считал вслух, а Гринька записывал, и городовые расписывались.

Когда третий мешок лёг на лёд, Егор Лапоть вдруг снял шапку.

За ним, один за другим, сняли шапки все сорок два человека артели.

— Егор, — сказал Ремизов. — Позавчера ты мне сказал про подряд.

— Сказал, — согласился староста. — И что зимой на паперть, тоже сказал. — Он посмотрел на мешки. — Только я вам, ваше высокородие, вот чего не сказал. Он же четыре раза приносил. Четыре раза он их на причал складывал и говорил: у вас потерялось. И мы четыре раза смеялись.

Он надел шапку.

— Мы над ним смеялись, — сказал он. — Вот за это я теперь и стою тут без шапки.

* * *

Оставалось одно, и оно было хуже всего: предписание.

Дело было закрыто рукой наместника, а мешки подняты со дна три часа назад, и до тех пор, пока дело не откроют заново, все семь подписей под описью не стоили ничего.

— Он не откроет, — сказал Кулага в санях. — Он же вам прямо объяснил: не готов.

— Он объяснил, что не готов поднимать пятнадцать смертей.

— А вы что же, одну ему принесёте?

— Я принесу ему кражу казённого железа на четыре тысячи рублей, — сказал Ремизов. — А смерть омутника пойдёт приложением. Как обстоятельство.

Подьячий повернулся к нему.

— Это подло, — сказал он.

— Да.

— Вы человека в приложение ставите.

— Ставлю, — сказал Ремизов. — Потому что если я поставлю его в заглавие, наместник вернёт мне бумагу, а Балахнин через год откупится и уедет. А если в приложение — то в деле будет написано, отчего он умер и кто его убил, и это останется в бумаге навсегда, и через двадцать лет кто-нибудь эту бумагу прочтёт.

Кулага долго молчал.

— Батюшка мой, — сказал он, — тоже как-то раз человека в приложение поставил. Он мне про это два раза в жизни рассказывал, и оба раза выпимши.

— И что?

— И ничего. Дело выиграл. — Подьячий поправил шапку. — Только он с тех пор в церковь ходить перестал.

Наместник читал двадцать минут.

Он прочёл опись, прочёл рапорт, прочёл промеры и чертёж Гриньки, дошёл до приложения и остановился.

— «Обстоятельства смерти работника артели Кузьмы Тихого, речного разряда», — прочёл он вслух. — Приложение третье.

— Так точно.

Тучков-Заречный поднял глаза.

— Вы у меня хитрее, чем я думал, — сказал он. — И противнее.

— Знаю.

— Четыре тысячи казённого железа. Подряд третий год. — Наместник побарабанил пальцами. — Хорошо. Дело открываю заново. По краже.

— А приложение?

— А приложение, — сказал наместник, — я прочту вслух на коллегии. Слово в слово. И пусть они там сидят и слушают, как в этом городе двадцать лет считали убыль по хозяйству.

Он взял перо.

— Только не думайте, что вы меня переиграли, Андрей Ильич. Я это делаю не оттого, что вы ловко составили бумагу. Я это делаю оттого, что мне вчера в шесть утра доложили, что начальник сыска ушёл под лёд, и я час не знал, вытащи-

ли вас или нет.

Он подписал и не поднял головы.

— Скверный был час, — сказал он.

* * *

Балахнина взяли утром, в конторе, и он не удивился.

— Три мешка, — сказал Ремизов. — Казённое клеймо. Опись, семь подписей.

— Мешки, — сказал подрядчик, — лежали на дне. Мало ли что лежит на дне.

— Полосы из партии, принятой на верфь двадцать шестого листопада и списанной в кузню полностью. По книге их там нет. По дну — есть.

— Книгу ведёт приказчик. Он выпивает.

— Вы вносили записи о найденном своей рукой.

— Я подрядчик. Найденное вношу я. — Балахнин развёл руками, и в этом движении было что-то почти дружелюбное. — Ваше высокородие, всё, что вы говорите, — это кража. Пусть кража. Я готов отвечать за кражу. Меня разорят, и я отвечу.

Он сел и посмотрел на Ремизова снизу вверх.

— Только вы ведь не за этим сюда пришли.

— Не за этим, — сказал Ремизов.

Он положил на стол лист.

— Ваша мерка от Штейгеля. Девять с половиной вершков.

— Я вам её сам и назвал.

— Назвали. — Ремизов положил второй лист. — А это

промер следа на льду: двенадцать вершков без четверти. И вот что странно, Аверьян Кузьмич. Человек с ногой в двенадцать вершков делает шаг в двадцать восемь. А на льду шаг в двадцать два с половиной. Такой шаг делает человек ростом с вас.

Балахнин молчал.

— Вы шли в сапогах убитого. Они велики вам на два с половиной вершка, и вы набили их паклей, чтобы нога не болталась. Пакля осталась внутри — вот она, в описи под номером девять. И осталась солома с вашего каретного сарая, и окалина, которую вы принесли в этих сапогах с верфи, потому что за час до того грузили полосы.

— Это всё в сапогах мёртвого крючника, — сказал подрядчик. — Он на верфи бывал каждый день.

— Он бывал в воде каждый день, — сказал Ремизов. — Окалина в мокром сапоге не держится. Штоф проверил: она вымывается за один спуск.

Балахнин сидел очень тихо.

— Вы везли его на дровнях, — сказал Ремизов. — Пять пудов вам не поднять, а на дровнях по молодому льду и ребёнок довезёт. Вы дошли до середины, положили его, надели на него сапоги обратно — плохо надели, портянка сбилась под пятку, — и пошли назад спиной вперёд, ставя ноги в свои же следы и держась за верёвку. Я вчера прошёл так сто шагов. Точнее, за меня прошёл квартальный, потому что мне ещё нельзя.

— Зачем? — вдруг спросил Балахнин.

— Что?

— Зачем мне это всё? — Подрядчик поднял голову, и в лице у него было настоящее раздражение, как у человека, которому испортили расчёт. — Ну хорошо, украл. Ну положим, ударил. Зачем везти на середину реки? Бросил бы в воду, и всё.

— Затем, что в воде его бы нашли свои, — сказал Ремизов. — И вытащили бы в первый же час, и всё было бы видно. А на льду его должны были найти люди — и решить, что омутник сам ушёл по льду и там ему стало худо. Вы всё продумали, Аверьян Кузьмич. Вы не продумали одного.

— Чего?

— Что омутники по льду не ходят, — сказал Ремизов. — Это знает вся пристань. Это не знали только вы — потому что вы четыре года платили им жалованье и ни разу ни одного из них не спросили ни о чём.

* * *

К старику он поехал вечером, вдвоём с Кулагой, в санях, укутанный в те же два тулупа.

Спиридон Тихонович Кулага жил у младшей дочери, в деревянном доме на Луговой, в комнате с двумя окнами и печью, у которой сидел с осени до весны.

Ему было восемьдесят девять лет. Он был очень маленький и очень прямой.

— Садитесь, — сказал он. — Тиша, поставь стул ближе,

я плохо слышу.

Ремизов сел.

Старик смотрел на него долго, не мигая, и Ремизов вдруг понял, что его разглядывают не как гостя и не как начальника, а как доказательство.

— Значит, правда, — сказал Спиридон Тихонович.

— Правда.

— Я, знаете, пятьдесят четыре года думал, что мне померещилось. — Старик усмехнулся. — Оно ведь как: если человека нет ни в одной бумаге, то через двадцать лет ты и сам начинаешь думать, что его не было.

— Кто он был?

— Тимофей Карлович, — сказал старик. — Фамилии не помню, а может, и не знал. Он был при Гильдии, не при управе. Лекарь.

— Лекарь?

— Лекарь. — Спиридон Тихонович пошевелился в кресле. — Его затем и позвали. У нас тогда мор был по нижней стороне, четвёртый год подряд, и никто ничего не мог. А он пришёл и через полгода мора не стало. Он воду велел кипятить и колодцы засыпать, вот и всё лечение. Над ним смеялись.

Ремизов сидел не шевелясь.

— Он к нам в управу ходил, — продолжал старик. — Не по службе. Он ходил бумаги читать — старые дела, кто когда помер и от чего. Я ему их носил, я тогда письмоводителем

был, двадцати трёх лет. Он мне однажды сказал: «Спиря, я тут ненадолго, я тут на год, они мне обещали».

Он замолчал.

— Сколько он пробыл? — спросил Ремизов.

— Одиннадцать лет, — сказал Спиридон Тихонович.

В печи стрельнуло.

— А потом?

Старик посмотрел в огонь.

— А потом в один день его не стало, и приехали из Гильдии, и забрали из управы четыре короба дел, которые он читал. И велено было о нём не поминать. — Он поднял глаза. — Не запрещено, заметьте. Велено не поминать. Это, молодой человек, разные вещи, и вторая крепче.

Ремизов не сразу нашёл голос.

— Он умер?

— Не знаю, — сказал старик. — Мне было тридцать четыре года, и я не спросил.

Он помолчал.

— Вам сейчас сколько?

— Тридцать четыре.

— Ну вот, — сказал Спиридон Тихонович Кулага. — А вы спросили.

Он пошевелил пальцами, и Кулага-младший тут же подвинул ему кружку с водой, и по этому движению было видно, что он делает это сорок лет.

— Одно я вам скажу напоследок, а больше ничего не знаю,

— сказал старик, отпив. — Он у меня раз спросил, есть ли в управе дела за прежние годы, до пожара. Я говорю: есть, в подвале, только их никто не разбирал. А он говорит: и не разбирайте.

— Почему?

— Не объяснил. — Спиридон Тихонович поставил кружку. — Но глядел при этом так, как вы сейчас глядите.

Ремизов встал.

— Спиридон Тихонович. Спасибо.

— Не за что. — Старик посмотрел на него снизу вверх. — Вы, молодой человек, поосторожнее с ними. Не с чародеями — они что, они служащие. Вы с обещаниями поосторожнее.

— С какими обещаниями?

— С теми, которые «на год», — сказал старик. — Тимофей Карлович одиннадцать лет прожил на слове «на год». И умер, я так думаю, всё ещё на нём.

В санях, на обратном пути, оба долго молчали.

— Одиннадцать лет, — сказал наконец Кулага.

— Одиннадцать.

— Андрей Ильич, вы ведь понимаете, что это ничего не доказывает. Может, он и вправду уехал. Может, его и вправду вернули, а батюшка просто не знал.

— Понимаю, — сказал Ремизов.

— Ну и хорошо.

— И ещё я понимаю, — сказал Ремизов, глядя на проплывающие мимо тёмные заборы, — что у Гильдии есть четыре

короба дел, забранных из этой управы пятьдесят четыре года назад. И что мне про них никто никогда не говорил.

Глава десятая

Коллегию собрали через неделю, в зале наместничества, и народу пришло больше, чем ожидали, потому что по городу разнеслось, будто начальник сыска будет судиться с казённой верфью.

Судиться никто не собирался. Читали дело.

Наместник читал сам, стоя, и читал долго: приход, расход, четыре записи о найденном, показания возчика Прокопа, опись поднятого со дна с семью подписями.

Потом он перевернул лист и сказал:

— Приложение третье. Обстоятельства смерти работника артели Кузьмы Тихого, речного разряда, второй ступени.

В зале зашевелились.

— «В ночь на второе груденя сего года на льду реки Стрежь в двухстах шагах от Нижней пристани обнаружено тело работника артели, состоявшего при пристани двадцать два года. Дознанием установлено, что смерть последовала от удара тяжёлым плоским предметом, нанесённого на причале, и что тело было перемещено на лёд с целью представить смерть последствием несчастного случая. Установлено также, что перемещение произведено подрядчиком казённой поставки Балахниным А. К. единолично, при помощи дровней, в сапогах убитого, надетых поверх собственных...»

Он читал ровно, не поднимая голоса, и в зале постепенно

делалось очень тихо.

— «...Побудительной причиной послужило то обстоятельство, что убитый четырежды за осень поднял со дна реки казённое железо и четырежды доставил его на причал, полагая, что возвращает хозяину утраченное».

Наместник опустил лист.

— Статьи для этого в законе нет, — сказал он. — Взыскание с виновного в пользу артели — восемьдесят рублей. Приложение оглашено. Прошу занести в протокол дословно.

Секретарь застучал пером.

Кто-то в третьем ряду сказал вполголоса — не громко, но в такой тишине это услышали все:

— За нелюдя-то восемьдесят.

Тучков-Заречный посмотрел в ту сторону.

— За человека, — сказал он, — по этому делу вышло четыре тысячи двести. Столько стоило железо. Я оглашаю обе цифры вместе, господа, чтобы вы их запомнили рядом.

* * *

Балахнина Ремизов видел ещё раз, в остроге, перед отправкой.

Подрядчик был спокоен и, кажется, даже отдохнул.

— Восемь лет, — сказал он. — За кражу. Могло быть двенадцать.

— Могло.

— А за него — ничего. — Балахнин посмотрел на Ремизова с любопытством. — Вас это мучает?

— Мучает.

— Напрасно. — Подрядчик пожал плечами. — Я вам объясню, как это устроено, вы человек не здешний, вам простительно не понимать. Я платил ему одиннадцать рублей в месяц. Одиннадцать. Артель платила подушное, я платил жалованье, он таскал мешки и нырял. Всё как у людей. И знаете, чего между нами не было ни одного дня за четыре года?

— Чего?

— Разговора, — сказал Балахнин. — Ни единого. Я ему говорил: спустись, достань. Он спускался и доставал. Я не знал, где он живёт, есть ли у него кто-нибудь, сколько ему лет. Мне это в голову не приходило.

Он помолчал.

— А если бы пришло, — сказал он, — я бы, может, и спросил, ходят они по льду или нет. И тогда бы вы меня не поймали.

Ремизов встал.

— Вы ошибаетесь, Аверьян Кузьмич.

— В чём?

— Если бы вы у него хоть раз что-нибудь спросили, — сказал Ремизов, — вы бы его не убили.

* * *

Дело подшили в четверг.

Гринька писал опись листов, высунув язык, а Кулага сидел рядом и проверял нумерацию — работа, которую он тридцать один год делал не глядя, а теперь делал внимательно.

— Двести шестнадцать листов, — объявил писец. — Ваше высокородие, а это много или мало?

— Это порядочно.

— А по делу Мошнина было девяносто.

— Значит, растём.

В управу заглянул Фомич, поздоровался со всеми и остановился у стола.

— Я, ваше высокородие, мимо шёл.

— Разумеется.

Квартальный положил на стол свою книжечку — потрёпанную, со следами пальцев.

— Тут вот какое дело. У нас на взвозе в лабазе замок сорвали. Я, как вы учили, сперва след посмотрел, а уж потом полез. — Он полистал. — И там, знаете, шаг короткий. Двадцать один вершок. А след большой, тринадцать.

В управе стало тихо.

Кулага очень медленно отложил перо.

— Кондратий Фомич, — сказал Ремизов. — Вы понимаете, что вы сейчас сказали?

— Понимаю, — сказал Фомич не без гордости. — Я, ваше высокородие, теперь эту вашу штуку с чужими сапогами до самой смерти не забуду. Я и Сазонову рассказал, а он говорит: я, говорит, сам при том опыте был, я задом наперёд сто шагов прошёл.

— Он про это уже трижды рассказывал в трактире, — заметил Кулага.

— Четырежды, — сказал Фомич. — Я один раз слушал.

* * *

Дома его ждал скандал.

— Шубу, — сказала Степанида, едва он вошёл. — Новую. Не эту вашу шинель, а шубу. Я мужика знаю, он привезёт крытую, за девятнадцать рублей.

— У меня жалованье сорок.

— А у вас лёгкие одни, — отрезала кухарка. — Шинель ваша казённая, она для сухого. Вы в ней в прорубь ходили.

— Один раз.

— Одного и хватило.

Она поставила перед ним щи и села напротив, подперев щёку, — это была новая привычка, появившаяся на второй неделе, и Ремизов до сих пор не понимал, как к ней относиться.

— Вы ешьте, — сказала Степанида. — Я вам ещё вот что скажу. Тут ко мне на прошлой неделе Марфа Лукинична заходила, с Свечного которая.

— И что?

— Дом продали. Хозяйка с дочерью в Заречье съехали, дом купил какой-то заводчик.

Ремизов положил ложку.

— А печь в кабинете?

— А я вот и спросила, — с торжеством сказала кухарка. — Я, говорю, Марфа, ты новым хозяевам про печь-то сказала? Она говорит: сказала. Топить велено ежедневно, записка на

столе лежала, они по ней и делают.

— Хорошо.

— Чего же хорошего, — вздохнула Степанида. — Дом чужой, люди чужие. А велено — и топят. Так и живём.

Она встала убирать.

— Вы, барин, доедайте. Вам завтра опять на реку.

* * *

Доску повесили в воскресенье.

Управа благочиния отказала во второй раз, и артель повесила сама — дубовую, в аршин, на стене конторы, со стороны реки, чтобы видно было со льда.

Резал буквы Егор Лапоть, потому что грамотных в артели было четверо, а руки были у него.

Имён вышло девятнадцать. Восемь человеческих и одиннадцать речных, и рядом с каждым — год, и больше ничего.

Наверху староста вырезал: «АРТЕЛЬ НИЖНЕЙ ПРИСТАНИ. СВОИ».

— Одно слово, — сказал он Ремизову. — Больше не придумал. У нас в благочинии сказали: доска для людей. Ну я и написал не «люди». Я написал «свои».

Митяй стоял в стороне, у самой воды.

— Ваше высокородие.

— Что?

— Мне артель дала жалованье Кузьмино за месяц, — сказал омутник. — Одиннадцать рублей. Я не знаю, что с ними делать. У нас денег не носят.

— Отдай Лаптю. Пусть пойдёт на доску.

Митяй посмотрел на доску, потом на него.

— Я тогда ещё одно спрошу. Вы меня в бумагу вписали?

— Вписал. Свидетелем. Митяй, речного разряда, при Нижней пристани.

— Митяй Кузьмин, — сказал омутник.

— Что?

— Впишите: Митяй Кузьмин. Мы фамилию по нраву берём. — Он повернулся к воде. — Мне такая по нраву.

* * *

В понедельник в управу пришли двое.

Первым был весовщик Лукич, в нарукавниках, с артельной книгой под мышкой, — принёс копию строки, написанной печатными буквами, заверенную старостой и им самим.

— Я подумал, — сказал он, — пущай в деле лежит. Мало ли что с книгой станется.

Ремизов взял листок.

«Спускался ночью, видел, кто кладёт. Кузьма».

— Лукич. Отчего вы мне это не принесли сразу?

— Так вы не спрашивали, — сказал весовщик. — Я, ваше высокородие, тридцать лет пишу и тридцать лет знаю: покуда не спросят, не суйся. — Он потоптался. — А теперь вот подумал, что зря знаю.

Вторым пришёл Прокоп, возчик, и стоял в дверях, не проходя.

— Меня судить будут?

— Будут. Пособничество по краже. Год, может, полтора.

Возчик кивнул, как кивают на ожидаемое.

— Я не за тем, — сказал он. — Я спросить хотел. Там, в бумаге, про меня написано, что я четыре часа стоял мордой к тыну?

— Написано.

— А нельзя это вычеркнуть?

— Нельзя, — сказал Ремизов.

Прокоп ещё постоял.

— Ну и правильно, — сказал он и ушёл.

* * *

Штоф слушал его двадцать минут и остался недоволен.

— Чисто, — сказал он раздражённо. — Совершенно чисто. Как будто ничего и не было.

— Это плохо?

— Это невозможно, — сказал лекарь. — Андрей Ильич, вы пробыли подо льдом больше минуты, наглотались воды и после этого трое суток бегали по морозу. Всякий обыкновенный человек лежал бы сейчас с воспалением, и я бы над ним стоял и не знал, что делать. А у вас чисто.

— Здешний воздух.

— Здешний воздух, — повторил Штоф с отвращением. — Вы это второй раз при мне говорите. В первый раз вы так объяснили, отчего у вас перестал ныть сломанный палец.

Ремизов застегнул ворот.

— Штоф, вы к чему клоните?

— Ни к чему. — Лекарь захлопнул сумку. — Я лекарь, а не чародей. Я просто складываю то, что вижу, и когда мне что-то не нравится, я это записываю. Я записал.

Он пошёл к двери и уже у порога сказал, не оборачиваясь:

— Вы, между прочим, единственный человек в этом городе, которого я не могу лечить по книгам. Мне не с чем вас сравнивать.

* * *

Кулага пришёл прощаться в среду, и Ремизов сначала не понял, о чём речь.

— Отпуск, — сказал подьячий. — Две недели. Я тридцать один год не брал, у меня их накопилось столько, что если разом взять, то до весны не выйду.

— Куда собрались?

— К батюшке. — Кулага сел, не снимая шубы. — Ему восемьдесят девять, Андрей Ильич. Я к нему тридцать лет ездил по воскресеньям, а разговаривал, выходит, впервые в жизни на прошлой неделе. И то не я разговаривал, а вы.

Он помолчал.

— Я его про многое спрошу, — сказал он. — Не только про вашего лекаря. Про своё.

— Правильно.

— Не знаю, правильно ли. — Подьячий пошевелил бровями. — Я вам вот что скажу на прощание, чтоб потом не забыть. Вы меня в первый день, помните, спросили: отчего я квартальному не сказал про разбитую губу? А я вам ответил:

не спрашивал, мол.

— Помню.

— Так вот, я тогда соврал не вам, а себе, — сказал Кулага. — Правда та, что мне было всё равно. Тридцать лет было всё равно, и я на этом хорошо и покойно служил. — Он встал. — А теперь стало не всё равно, и это, доложу вам, крайне неудобно. Я через сорок два сапога перелез. Я в шестьдесят два года по льду ползал с бечёвкой.

— И как?

— Плохо, — сказал подьячий. — Спина не гнётся, коленки мокрые, а бросить уже не выходит.

Он пошёл к двери.

— Тихомир Спиридонович.

— Ну?

— Спасибо за сапоги.

Кулага махнул рукой и вышел, и уже с лестницы донеслось:

— Гриньку не заморите. Он вас теперь во всём слушается, а он дурак ещё.

* * *

Милава Ратмировна пришла в управу под вечер, в тот час, когда все уже разошлись, и Ремизов подумал, что она нарочно выбирает это время.

Она положила на стол папку.

— Гильдия прочла ваш доклад.

— Какой из?

— Оба. — Она села. — Тот, где вы солгали, и тот, где не солгали. Второй читали внимательнее.

— И?

— Магистры хотят вас видеть, — сказала Милава Ратмировна. — После Нового года. Разговор пойдёт об обратном переходе.

Ремизов положил перо.

За окном шёл снег, третий раз за неделю, и он поймал себя на том, что сначала подумал о дровах и только потом обо всём остальном.

— Почему теперь? — спросил он.

— Потому что вы за месяц раскрыли две кражи казённого и посадили двух подрядчиков, — сказала она. — И потому что наместник дважды написал о вас в столицу. Вы стали стоить дороже, Андрей Ильич. А с тем, кто стоит дороже, разговаривают.

— Это хорошо или плохо?

Милава Ратмировна впервые за всё время помедлила с ответом.

— Это торг, — сказала она. — Раньше вам ничего не обещали, потому что вы ничего не стоили. Теперь вам предложат условия. Условия всегда лучше, чем ничего, и всегда хуже, чем кажется.

Ремизов пододвинул к себе папку и не открыл её.

— Милава Ратмировна. Я хочу спросить у вас одну вещь и хочу, чтобы вы ответили как есть.

— Спрашивайте.

— Тимофей Карлович.

Она не шевельнулась. Но что-то в лице у неё стало другим — не испуг, а внимание, полное и мгновенное, как у человека, услышавшего в темноте незнакомый звук.

— Кто это? — спросила она.

— Лекарь при Гильдии. Пятьдесят четыре года назад. Он прекратил мор на нижней стороне и одиннадцать лет прожил здесь, полагая, что живёт год.

— Такого имени я не слышала.

— Я вам верю, — сказал Ремизов.

Она посмотрела на него.

— Не верьте, — сказала она. — Проверьте. Я вам это говорю первый и последний раз: не верьте мне на слово ни в чём, что касается Гильдии. Я в ней служу. Я не знаю, чего мне не сказали.

Она встала и надела перчатки.

— Что до вашего лекаря — я узнаю. Это займёт время: у нас плохой почерк и долгая память, а такие дела не лежат там, где их ищут.

— Их забрали отсюда, — сказал Ремизов. — Четыре короба. Из этой самой управы, в год его исчезновения.

Милава Ратмировна остановилась у двери.

— Четыре короба, — повторила она.

— Вы этого не знали.

— Не знала. — Она помолчала. — И вот это, Андрей

Ильич, мне не нравится гораздо больше, чем всё остальное. Гильдия не забирает дела из городских управ. У неё нет на это права.

Она вышла.

Ремизов остался один в тёплой комнате, где пахло чернилами и сукном из лавки внизу.

Он посидел, потом достал чистый лист и написал сверху то, что писал теперь каждый раз, когда не знал, с чего начать: «Что нужно проверить».

И первым пунктом — не про переход, не про магистров и не про условия, которые ему предложат после Нового года.

Первым пунктом он написал: «Что было в подвале этой управы до пожара».

КНИГА ТРЕТЬЯ. ЧТО БЕРУТ ВЗАМЕН. Глава одиннадцатая

Взял пуговицу. Оставил стекло.

За ним приехали в четвёртом часу ночи, и приехали не из управы.

У крыльца на Мытной стояла карета с гербом наместничества, а в карете сидел чиновник особых поручений, которого Ремизов видел третий раз в жизни и ни разу не запомнил по имени.

— Тайный советник Свиягин, — сказал чиновник. — Пропал сын. Шести лет.

— Давно?

— Обнаружили в половине третьего.

Ремизов застёгивал шинель на ходу.

— Почему я? Дети по благочинию.

— Потому что его сиятельство велели вас, — сказал чиновник и отвернулся к окну, показывая, что разговор окончен.

Дом Свиягиных стоял на Соборной, в четыре этажа, с колоннами и с фонарями у ворот, которые горели все.

Во дворе было светло и много народу: дворня, городовые, чиновники в шинелях внакидку, кучера. Все стояли и ничего не делали, и от этого двор казался ещё многолюднее.

На крыльце Ремизова встретил сам хозяин.

Тайному советнику Гордею Лукичу Свиягину было под шестьдесят. Он был крупный, тяжёлый, с лицом человека, который последние тридцать лет принимал решения и не объяснял их.

— Взяли, — сказал он вместо приветствия. — Из детской. Ночью.

— Кто?

— Обменник, — сказал Свиягин.

* * *

Детская была на третьем этаже, окнами во двор.

Ремизов остановился на пороге и не вошёл.

— Кто тут был после?

— Все, — сказал чиновник особых поручений.

— Сколько человек?

— Не считал. Мать, нянька, дворня. Его сиятельство.

Ремизов постоял, глядя в комнату. Комната была разорена не преступлением, а поисками: перевёрнутая кровать, ковёр сбит к стене, шкаф раскрыт настежь, на полу — вываленные игрушки.

— Гринька. Черти как есть.

— Так тут уж всё сдвинуто!

— Черти как есть, — повторил Ремизов. — Через месяц это будет единственное, что у нас останется.

Он прошёл по комнате, ступая по краю, у самого плинтуса.

Окно: закрыто на шпингалет, изнутри. Между рамами лежала вата, посыпанная блёстками, — так закладывают на зиму, и вата была нетронута, ни вмятины.

Печь в углу: изразцовая, тёплая. Вьюшка открыта.

Ремизов присел перед ней и посветил.

— Вьюшку кто открывал?

— Никто, — сказала от двери женщина.

Она стояла, держась за косяк. Аглая Ниловна Свиягина была лет на двадцать моложе мужа и в эту минуту выглядела старше его.

— Вьюшку на ночь закрывают, — сказала она. — Всегда. Пелагея закрывает в девять, я проверяю в одиннадцать. Я проверила.

— Она была закрыта в одиннадцать?

— Была.

Ремизов посмотрел на открытую вьюшку.

Потом опустил глаза и увидел на полу, у самого приступка, среди рассыпанных кубиков и оловянных солдатиков, стеклянный шарик.

Он был мутно-зелёный, с пузырьком внутри, размером с вишню, и лежал отдельно от всего.

— Это чьё?

Аглая Ниловна посмотрела.

— Не знаю, — сказала она. — У Вани такого не было.

* * *

Про обменников Ремизову рассказывали три разных че-

ловека, и все три рассказа сходились в главном и расходились во всём остальном.

— Мелкая чудь, третий разряд, — сказал Кулага, вернувшийся из отпуска на два дня раньше срока и заставший карету у крыльца. — При домах живут. Ростом с кошку, вида не разобрать, потому как быстрые. Таскают что блестит.

— Воруют?

— Меняют, — поправил подьячий. — В том и суть. Обменник не может взять просто так. Возьмёт напёрсток — положит стёклышко. Возьмёт монету — положит пуговицу. У них это не обычай, Андрей Ильич, это устройство. Как омутник тонущего вытащит, так обменник взамен положит.

— Всегда?

— Всегда. — Кулага помолчал. — Оттого в богатых домах их и терпят. Что взял — того не жалко, а взамен, бывает, и получше подкинет.

— А детей?

Подьячий поморщился.

— Детей — это бабки на завалинках. Пятьсот лет говорят: обменник дитё унесёт, а полено оставит. И ни одного случая, ни одного дознания, ни строчки в росписи. Ни разу.

— Но говорят.

— Говорят так, что и я в детстве боялся, — сказал Кулага. — А теперь мне шестьдесят два, и я знаю, что не бывает. И всё равно, когда ночью в трубе шуршит, у меня внутри что-то ёкает. Вот вам и вся народная мудрость.

* * *

Няньку Пелагею допрашивали в буфетной, потому что в детскую она входить отказалась.

Ей было под пятьдесят, она сидела прямо и на каждый вопрос отвечала сразу, слишком быстро, тем захлёбывающимся голосом, которым говорят люди, всю ночь готовившиеся к допросу.

— Уложила в девять. Вьюшку закрыла. Свечу задула. Дверь притворила.

— Заперли?

— Не запираем. Ваня боится.

— Вы где спали?

— В чуланчике, рядом. Дверь в дверь.

— Слышали что-нибудь?

— Ничего, — сказала Пелагея. — Ничегошеньки, батюшка. Я в половине третьего встала, как всегда встаю, заглянула — а постель пустая и холодная.

— Холодная, — повторил Ремизов.

— Холодная.

Он записал это отдельно.

— Пелагея. Дом ночью запирают?

— Запирают.

— Обвод?

— Нету у нас обвода, — сказала нянька. — Его сиятельство не держат. Говорят, дорого и глупость.

Ремизов поднял глаза.

— Тайный советник Свиягин не держит обвода?

— Не держат.

* * *

Чёрный ход выходил в проулок между домом и каретным сараем.

Ремизов простоял там сорок минут, и за эти сорок минут стало ясно, что ночью здесь ходили.

Снег в проулке был убран не весь — дворники чистили середину, а у стены оставляли. И вдоль стены, под самым карнизом, где снега лежало на два вершка, шла полоса примятого, растоптанного, затёртого — не следы, а именно затёртость, как будто по ней прошлись метлой.

— Кто чистил?

— Никто не чистил, — сказал дворник. — Тут не чистим, тут не ходят.

— А это?

Дворник посмотрел и почесал затылок.

— Стало быть, ходили.

Ремизов прошёл вдоль стены до конца проулка. У выхода на Соборную, за углом, снег был чистый, нетронутый, ровный.

— Гринька. Куда девается человек, который прошёл по проулку и не вышел на улицу?

— Так... — Писец растерянно осмотрелся. — Он в сарай зашёл?

— Или?

— Или его тут ждали.

— Или его тут ждали, — согласился Ремизов. — И он сел. Что бывает, когда человек садится в сани или в пролётку?

Гринька просиял.

— След от полозьев!

Он бросился к обочине и через минуту закричал оттуда так, что на Соборной обернулись извозчики.

Полозный след был. Он шёл вдоль тротуара, стоял на месте — там, где сани ждали, снег был утоптан лошадиными копытами в круг, — и уходил вниз, к реке.

— Ваше высокородие, — сказал Гринька уже тише. — А ведь обменнику сани не нужны.

* * *

— Не держу, — подтвердил Свиягин.

Кабинет его был размером с управу.

— Сорок рублей в год, — сказал он. — Не в деньгах дело. Я двадцать восемь лет служу по казённым землям и знаю, чего стоит гильдейская бумага. Обвод — это когда чужой человек ходит по твоему дому с закатом и произносит над твоими дверьми слова, которых ты не понимаешь. Я предпочитаю замки.

— Замки этой ночью не помогли.

— Не помогли, — согласился Свиягин, и лицо у него не дрогнуло. — Против обменника замки не помогают.

Ремизов положил на стол стеклянный шарик.

— Это лежало в детской.

Тайный советник посмотрел.

— Ну вот, — сказал он. — Взял и оставил. Как у них заведено.

— Взял ребёнка и оставил шарик?

— А что вас удивляет?

— То, — сказал Ремизов, — что за пятьсот лет в империи нет ни одного случая, чтобы обменник унёс ребёнка. Ни одного дознания. Ни строчки.

Свиягин откинулся в кресле.

— Ваше высокородие. Вы здесь три месяца.

— Четвёртый.

— Четвёртый. — Он усмехнулся без всякого веселья. — А я здесь родился. И моя нянька рассказывала мне то же, что вам сегодня расскажет всякий в этом городе. И знаете, отчего нет дознаний? Оттого, что дознавать нечего. Дитя пропало — и всё. Кто ж станет заводить дело на чудь, за которую и статьи нет?

Он подался вперёд.

— Я вас затем и вызвал, что вы не здешний. Все прочие будут искать по канавам и прудам. Вы искать не станете. Вы пойдёте туда, куда надо.

— Куда надо?

— В Кожевенную слободу, — сказал Свиягин. — Там их гнездо.

* * *

Аглая Ниловна нашла его сама, в коридоре, между каби-

нетом мужа и лестницей.

— Вы ему не верите, — сказала она.

— Я никому пока не верю.

— Это правильно. — Она стояла, прижав к груди сложенные руки, и говорила очень тихо и очень быстро, оглядываясь на дверь. — Я вам скажу одно, и больше ничего не скажу, потому что мне не позволят. Гордей Лукич третью неделю не спит.

— Отчего?

— Не знаю. — Аглая Ниловна помотала головой. — Он мне не говорит. Он с Рождества переменился. Стал в кабинете ночевать. Дважды при мне рвал письма, не читая, — я такого за девять лет не видела.

— Письма приходили по почте?

— Приносили. — Она подумала. — Днём. С посыльным. Без конверта, просто сложенный лист.

Ремизов посмотрел на закрытую дверь кабинета.

— Аглая Ниловна. Как по-вашему, отчего ваш муж так уверен, что это обменник?

Она долго молчала.

— Оттого, — сказала она наконец, — что он в них не верит.

* * *

Кожевенная слобода лежала на нижней стороне, за оврагом, и была она никакое не гнездо, а восемь кривых улиц, где селились те, кому не сдавали в других местах.

К девяти утра там уже стояли люди.

Не толпа — пока ещё не толпа. Человек шестьдесят, кучками, у поворота на Кожевенную, и в этих кучках говорили негромко, и оттого было хуже, чем если бы кричали.

Ремизов приехал с Сазоновым и восемью городовыми.

— Кто им сказал? — спросил он.

— А кто ж их знает, — сказал квартальный, оглядываясь. — Дворня свиягинская, надо думать. К шести утра весь город знал.

— Что знал?

— Что у тайного советника обменники дитё унесли. — Сазонов сплюнул. — Ваше высокородие, я тут двенадцать лет служу. Я вам скажу, как оно пойдёт. Сегодня постоят. Завтра постоят и разойдутся. А послезавтра кто-нибудь скажет, что дитё бы вернули, кабы их прижали, — и тогда пойдут по домам.

— Сколько их в слободе?

— Обменников? Голов сорок. Да и не в них дело. — Квартальный посмотрел на него. — В слободе, окромя них, ещё тысяча двести человек живут. И когда пойдут — пойдут по всем.

* * *

Наместник встретил его вопросом:

— Вы понимаете, кто такой Свиягин?

— Тайный советник.

— Тайный советник, который двадцать восемь лет веда-

ет казённой землёй в трёх губерниях, — сказал Тучков-Заречный. — Через его подпись идут все лесные и все рудные аренды. У него в столице читают письма раньше моих.

Он прошёлся по кабинету.

— И у него пропал единственный сын. Андрей Ильич, я вам скажу прямо: если вы найдёте мальчика живым, вам простят всё. Всё, что вы уже наделали, и всё, что вы ещё наделаете. А если не найдёте...

— То меня снимут.

— То меня снимут, — поправил наместник. — Вас просто отправят обратно к вашим чародеям, и они с вами что-нибудь сделают. А я останусь тут.

Он остановился у окна.

— И ещё одно. Он уже написал в столицу.

— За полдня?

— За четыре часа. — Тучков-Заречный обернулся. — Просьба о разрешении на розыскную зачистку Кожевенной слободы. Знаете, что это такое?

— Догадываюсь.

— Не догадываетесь, — сказал наместник. — Это когда две сотни солдат с рассвета до заката идут по улице и выносят из домов всё, что может прятать чудь. Печи ломают. Полы вскрывают. Это делали при мне один раз, восемь лет назад, на Гончарной. Нашли двух обменников и одного печника, который был ни при чём и умер через месяц.

— А люди?

— А люди, — сказал наместник, — потом три года не отстраивались.

* * *

Обменника при доме Свиягиных звали Шурша, и найти его оказалось делом двух часов, потому что искать надо было не его, а место.

— Они за печами живут, — объяснял старик-истопник, ведя Ремизова по подвалу со свечой. — Где потеплее и где щель. У нас он в третьей печи, за отдушиной. Двадцать шесть лет как при доме.

— Двадцать шесть?

— С покойного барина ещё.

Отдушина была узкая, в ладонь. Ремизов посветил и увидел за ней нишу, а в нише — аккуратно, как в лавке, разложенное на тряпице.

Напёрсток. Три пуговицы. Обломок зеркальца. Ключ от чемодана. Крючок от платья. Монета в две копейки. Медный колокольчик с шеи кошки.

И в стороне, отдельно, — то, чего он не ожидал.

Медная пуговица с двумя топориками накрест.

— Это чьё? — спросил Ремизов.

Истопник наклонился, щурясь.

— Не наше, — сказал он уверенно. — У нас на ливрее пуговица гладкая, с вензелем. А это с кафтана лесного. У кого лесная артель, у тех топорики.

Ремизов очень осторожно, двумя пальцами, вынул пуго-

вицу.

— Дед. Ты слушай меня внимательно. Он может взять и не положить взамен?

— Не может, — сказал истопник. — Никогда.

— А положить и не взять?

Старик подумал.

— Тоже не может, — сказал он. — Он же меняет. Как это — менять и не взять?

Ремизов посмотрел на пуговицу с топориками. Потом достал из кармана и положил рядом на ладонь мутно-зелёный стеклянный шарик из детской.

— Значит, — сказал он, — этой ночью в детской он взял пуговицу и положил стекло.

— Стало быть, так.

— А пуговица была на человеке.

Он поднёс свечу ближе к отдушине.

За тряпицей, в глубине ниши, что-то шевельнулось — быстро, коротко, и тут же замерло.

— Шурша, — сказал истопник в темноту. — Не бойсь. Свои.

Ничего не ответило.

— Он говорить-то умеет? — спросил Ремизов.

— Не умеет, — сказал старик. — Они не говорят, ваше высокородие. Они только меняют.

Ремизов посмотрел на медную пуговицу с топориками у себя в ладони.

Потом сунул руку в карман, нашарил гривенник и положил его на тряпицу, рядом с напёрстком.

— Так честно? — спросил он.

В нише опять шевельнулось. Гривенника не стало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.